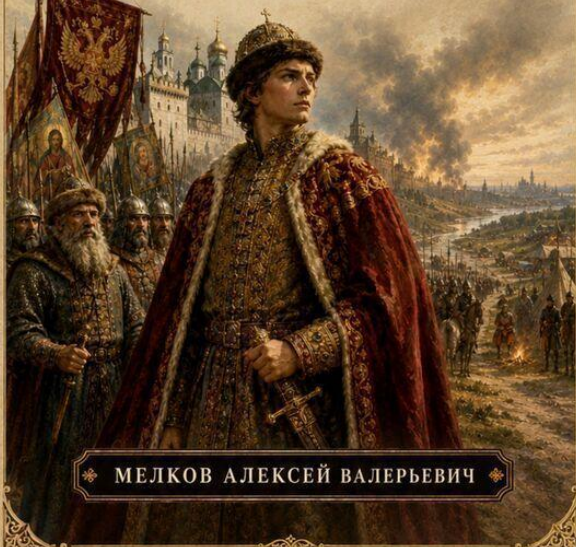


18+

ГРОЗНАЯ ДЕРЖАВА

— Книга первая —

ВРАТА КАЗАНИ



МЕЛКОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Алексей Мелков

Грозная Держава книга первая: Врата Казани

<https://litres.ru/74465774>

ISBN 9785007124607

Аннотация

Молодой Иван IV принимает царский венец и вступает в эпоху, когда судьба Русского государства решается не только на поле боя, но и в тайных палатах, на дорогах, в приказных книгах и в сердцах людей.

На востоке стоит Казань — сильная крепость, важнейший узел Волги и источник многолетней военной угрозы.

В это-же время,. Кто-то собирает тайные государевы грамоты, подделывает документы, сеет подозрение между царём и его ближайшими людьми. Следы заговора ведут от Москвы к Казани...

Содержание

СЕРИЯ «ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ»	5
МЕЛКОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	6
ГРОЗНАЯ ДЕРЖАВА	6
КНИГА ПЕРВАЯ	7
ВРАТА КАЗАНИ	8
Исторический роман-детектив	9
Часть первая. Царь	19
Глава первая. Тяжесть венца	19
Глава вторая. Женщина из прошлого	46
Глава третья. Царская невеста	77
Глава четвёртая. Перед венцом	97
Глава пятая. Пожар и пепел	116
❁❁	131
Конец ознакомительного фрагмента.	142

Грозная Держава книга первая: Врата Казани

**Алексей
Валерьевич Мелков**

© Алексей Валерьевич Мелков, 2026

ISBN 978-5-0071-2460-7 (т. 1)

ISBN 978-5-0071-1839-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

*** * ***

СЕРИЯ «ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ»

**МЕЛКОВ АЛЕКСЕЙ
ВАЛЕРЬЕВИЧ**

ГРОЗНАЯ ДЕРЖАВА

КНИГА ПЕРВАЯ

ВРАТА КАЗАНИ

Исторический роман-детектив

* * *

Пролог. Ночь перед царством

Москва. Ночь на 16 января 1547 года

В ночь перед тем, как Русь должна была впервые проснуться царством, на льду Неглинной пролилась кровь человека, имени которого не следовало знать никому.

Москва спала беспокойно.

Она никогда не умела спать так, как спят небольшие города, где после вечернего колокола гаснут лучины, запираются дворы и тишина, спустившись на крыши, делается общей для богатого и бедного. Москва даже в самые мирные ночи продолжала жить тяжёлой, скрытой жизнью огромного существа: потрескивали от мороза брёвна посадских домов, лаяли цепные псы, стучали колотушки сторожей, где-то ругался запоздалый извозчик, где-то рожала женщина, где-то умирал старик, и над всем этим, над людской радостью, грязью, страхом, молитвой и ненавистью, возвышался Кремль — тёмный, каменный, почти невидимый в снежной мгле.

Завтра в Успенском соборе шестнадцатилетний великий князь Иван Васильевич должен был принять царский венец.

Об этом говорили на торгах и у церковных папертей, в боярских хоромах и ремесленных избах, в монастырских тра-

пезных и кабаках. Одни ожидали от нового титула справедливости, другие — новых налогов, третьи надеялись, что молодой государь обуздает бояр, четвёртые опасались, что бояре окончательно подчинят себе молодого государя. Человек всегда судит о великих переменах по собственной нужде: голодный думает о хлебе, купец — о дороге, воин — о жалованье, боярин — о месте возле престола. Лишь немногие понимают, что история, прежде чем стать летописной строкой, входит в мир как нечто смутное, тревожное и почти незаметное — как далёкий звон, который одни принимают за начало праздника, а другие за набат.

Тимофей Игнатьев сын Воронеж не думал ни о царском титуле, ни о греческих императорах, ни о том, станет ли Русь сильнее после завтрашнего торжества.

Он думал о человеке, шедшем впереди него.

Фома Карпов, прозванный на Нижнем Кривым, хотя оба глаза его смотрели прямо и зорко, шагал быстро, не оборачиваясь. Невысокий, широкоплечий, с короткой проседью в бороде, он казался обыкновенным служилым человеком, каких сотни приезжали в Москву с пограничными вестями. На нём был потёртый овчинный кожух, за поясом висел простой нож, а под мышкой он нёс свёрток с сушёной рыбой — нарочно выставленный напоказ, чтобы любой встречный принял путников за мелких торговцев.

Однако Фома не был торговцем.

Он знал татарскую речь, черемисские наречия, ногайские

роды, волжские переправы и имена людей, которые днём торговали в Казани русским полотном, а ночью передавали на московскую сторону сведения о ханском дворе. Он мог по одной подкове определить, откуда пришла конница, по дыму над дальним лесом — сколько людей остановилось на ночлег, по небрежно произнесённому имени — к какому роду принадлежит собеседник.

Такие люди редко становились воеводами и почти никогда не попадали в летописи. Их не встречали колокольным звоном, не сажали на почётное место за государевым столом. Они жили между двумя мирами, пользовались чужими именами, молились в дороге шёпотом и умирали чаще всего там, где никто не мог поставить над ними креста.

От Нижнего Новгорода до Москвы Тимофей сопровождал Фому по приказу муромского воеводы. Сначала это казалось ему унижительным поручением. Он был сыном боярским, хотя отцовское поместье после разорения едва кормило мать и младших сестёр, и считал, что ему приличнее стоять в полку с саблей, нежели сторожить молчаливого старика, притворяющегося рыбным торговцем.

Но уже на второй день пути Тимофей понял, что охраняет не человека.

Он охранял то, что Фома нёс под одеждой.

Вечерами, когда они останавливались на постоялых дворах, Кривой не снимал кожуха. Спал, прислонившись спиной к стене, и держал руку на груди. Однажды ночью Тимо-

фей проснулся и увидел, как спутник, думая, что за ним никто не наблюдает, проверяет тонкий кожаный футляр, пришитый к изнанке кафтана.

— Грамоты? — спросил Тимофей утром.

Фома долго смотрел на него, словно решая, достоин ли молодой человек ответа.

— Хуже.

— Что может быть хуже грамоты?

— Имя.

Больше он ничего не объяснил.

Теперь, приближаясь к Неглинной, Фома впервые за весь путь начал оглядываться.

— До Кремля недалеко, — сказал Тимофей.

— Потому и оглядываюсь.

— На дороге нас не тронули.

— На дороге не знали, кто мы. Здесь знают.

Они шли узким проездом между тёмными дворами. Снег лежал неровно: у ворот его затоптали сапогами и полозьями, возле плетней он поднимался чистыми сугробами. За стеной какого-то подворья всхрапнула лошадь. Далеко, за домами, показалась чёрная громада кремлёвской стены.

Фома остановился.

— Ты слышишь?

Тимофей прислушался.

Сначала он различил лишь обычные ночные звуки: потрескивание дерева, скрип снега, отдалённый собачий лай.

Потом услышал ещё одно — слишком осторожное, чтобы быть случайным.

Кто-то шёл за ними.

Фома переложил свёрток с рыбой в левую руку.

— Не оборачивайся.

— Сколько?

— Двое. Может, трое.

Тимофей почувствовал, как всё в нём разом изменилось. Холод перестал быть холодом, темнота — темнотой. Пространство вокруг стало ясным и тесным: ворота слева, низкая ограда справа, впереди спуск к замёрзшей реке, позади приближающиеся шаги.

Он медленно опустил руку к сабле.

Фома продолжал идти, словно ничего не замечал.

Они дошли до спуска.

В этот миг из-за ограды поднялся человек.

Он не прыгнул, не закричал и не замахнулся. Просто возник перед ними — высокий, в тёмной однорядке, с лицом, закрытым до глаз шерстяным платом.

— Отдай свод, Фомка, — произнёс он негромко. — Не за свою жизнь упрямышься.

Тимофей заметил, как дёрнулась голова Кривого.

Не от страха.

От узнавания.

Это продолжалось одно мгновение, но иногда мгновения достаточно, чтобы судьба человека отделилась от него и по-

шла своей дорогой.

Фома бросил в незнакомца свёрток с рыбой.

Одновременно сзади послышался хруст снега.

Тимофей обернулся и увидел второго. Тот уже занёс короткую саблю. Молодой человек едва успел отшатнуться. Лезвие прошло возле лица, рассекло край шапки и ударилось об ограду. Тимофей выхватил оружие и рубанул снизу. Нападавший закрылся, но не удержал удара, попятился, провалившись ногой в сугроб.

Из темноты появился третий.

Теперь стало ясно, что Фому ждали.

Тимофей был молод, силён и уже участвовал в стычках с казанскими отрядами, но там всё происходило иначе. В открытом поле человек видел врага, слышал крики товарищей, понимал, откуда придёт удар. Здесь не было ни полка, ни воеводы, ни знамени. Только тёмные фигуры, скользкий снег и близкое дыхание смерти.

Второй нападавший снова пошёл на него.

Тимофей принял удар на саблю, повернул кисть, отвёл чужое лезвие и ударил противника плечом. Тот зашатался. Тимофей мог зарубить его, но в это мгновение услышал за спиной тяжёлый стон.

Фома стоял на коленях.

Высокий человек удерживал его за ворот, а третий рвал кожу на груди.

— Книгу! — приказал высокий. — Ищите книгу!

Не деньги.

Не грамоту.

Книгу.

Тимофей ударил своего противника рукоятью в висок, перепрыгнул через него и бросился к Фоме. Третий нападавший обернулся. В руке у него блеснул нож.

Тимофей не успевал.

Тогда он сделал то, чему научил его отец: не пытался остановить человека — ударил туда, куда тот собирался ступить.

Сабля рассекла сапог над щиколоткой. Нападавший вскрикнул и упал. Тимофей рванул Фому за плечо, одновременно заслоняясь от высокого.

Лезвия встретились.

Высокий оказался опытным бойцом. Он не рубил широко и не тратил силу. Его сабля двигалась коротко, почти беззвучно, каждый раз находя слабое место. Тимофей отступил к реке. Под ногой треснул наст, и молодой человек едва не упал.

— Уходи! — хрипло сказал Фома.

Высокий сделал обманное движение и вдруг ударил не Тимофея, а Кривого.

Клинок вошёл под ребро.

Фома согнулся, но успел ухватить противника за рукав. Ткань натянулась. На мгновение из-под однорядки показалась узкая полоса дорогого вишнёвого сукна и серебряная застёжка, выполненная в виде волчьей головы.

Высокий вырвался.

— Взял? — спросил он третьего.

Раненый человек уже поднялся. В руке у него был кожаный футляр.

— Взял.

— Тогда прочь.

Они отступили к реке. Тот, кого Тимофей ударил рукоятью, шатаясь, побежал за ними.

Молодой человек мог броситься следом. Позднее он много раз вспоминал этот миг и спрашивал себя, почему остался. Может быть, потому, что Фома умирал. Может быть, потому, что на льду нападавших могли ждать кони и ещё люди. А может быть, потому, что судьба не всегда требует от человека погони; иногда она заставляет его преклонить колени возле того, кого уже невозможно спасти, и выслушать слова, от которых будет зависеть будущее.

Фома лежал на снегу.

Кровь быстро растекалась под ним, казавшаяся почти чёрной в темноте.

— Они забрали футляр, — сказал Тимофей. — Что там было?

Кривой смотрел куда-то вверх, на небо, которого не было видно за низкими тучами.

— Не футляр... Листья...

— Какие листья?

— Свод собирают... По одному... много лет...

— Кто собирает?

Фома попытался вдохнуть. Губы его задрожали.

— В Москве... Ищи в Москве...

Тимофей наклонился ниже.

— Кто этот человек? Ты его узнал?

Фома посмотрел на него. Взгляд его прояснился на краткий миг.

— Голос... знаю... имя не скажу...

— Почему?

— Потому что тогда... ты умрёшь прежде утра.

— Я и так могу умереть.

На лице Фомы появилось что-то похожее на улыбку.

— Молодой... Потому и думаешь, что смерть — самое худшее.

Он с трудом поднял руку и сунул пальцы за ворот. Тимофей помог ему. На шее Кривого висел маленький деревянный крест, а под ним — кожаная ладанка. Фома сорвал её и зажал в ладони молодого человека.

— Не дьякам... не боярам...

— Кому же?

Фома хотел ответить, но закашлялся. Кровь выступила у него на губах.

— Тому... кого завтра... назовут царём.

Тимофей замер.

— Государю?

Кривой сжал его руку с неожиданной силой.

— Скажи... врата Казани... отворяют из Москвы.

Пальцы его разжались.

Некоторое время Тимофей стоял на коленях, не понимая, что человек перед ним уже мёртв. Потом осторожно закрыл ему глаза.

Издалека донёсся первый колокольный удар.

Ему ответил другой, затем третий.

Над заснеженной Москвой начинался благовест.

Город просыпался, чтобы увидеть рождение царства, и никто ещё не знал, что вместе с новым титулом в этот день родится новый страх: страх перед изменой, которая может скрываться не за дальними рубежами, не в ханском стане и не при дворе литовского короля, а рядом — за одной стеной, за одним столом, под одной молитвой.

Тимофей разжал ладонь.

В ладанке находился узкий обрывок бумаги. На нём были написаны четыре имени, три названия городов и один знак — три соединённые арки, над которыми чья-то рука вывела единственное слово:

«Внутри».

Часть первая. Царь

Глава первая. Тяжесть венца

Утром снег перестал.

Небо над Москвой было светлым и неподвижным, словно сама зима, утомившись за ночь, замерла над городом, чтобы посмотреть, что совершат люди.

К Успенскому собору стекались приглашённые: архиереи, архимандриты, князья, бояре, окольничие, дворяне. Золотое шитьё одежд, меха, дорогие ткани и оружейное серебро сияли в холодном воздухе. У соборных дверей толпились служители. Кремлёвские площади были заполнены людьми, которым не позволяли войти внутрь, но которые всё равно пришли — не столько видеть, сколько присутствовать рядом с событием, о котором будут рассказывать детям.

Народ редко знает точный смысл великих церемоний, но безошибочно чувствует их значение.

Многие из стоявших на площади не понимали, чем царь отличается от великого князя. Для одного это было старое слово из церковных книг, для другого — имя византийского властителя, для третьего — титул ордынского хана. Но все ощущали: сегодня должно произойти нечто такое, после чего прежняя жизнь продолжится и всё-таки уже никогда не будет

прежней.

Внутри собора горели свечи.

От множества огней золото икон казалось живым. Лики святых проступали из полумрака, древние государи смотрели со стен, и весь храм был подобен огромной памяти, перед которой живой человек становился мал и незащищен, кем бы он ни был назван людьми.

Иван Васильевич стоял перед митрополитом Макарием.

Ему было шестнадцать лет.

Он был высок для своего возраста, худощав, держался прямо и неподвижно. Его лицо ещё сохраняло юношескую тонкость, но глаза уже не были глазами юноши. Слишком многое прошло перед ними: смерть отца, которую он не мог помнить, смерть матери, которую помнил обрывками, боярские распри, унижения, внезапные падения людей, вчера казавшихся всемогущими, шёпот за дверями, исчезновение слуг, перемены лиц вокруг престола.

Детство государя бывает обманчиво. Внешне оно наполнено роскошью: дорогими одеждами, просторными палатами, множеством прислужников. Но если ребёнок рано понимает, что окружающие кланяются не ему, а власти, которой хотят воспользоваться, вся роскошь становится разновидностью темницы. Он учится видеть в ласке расчёт, в совете — притязание, в заботе — борьбу за влияние. И когда такой ребёнок вырастает, ему трудно поверить в бескорыстную верность, потому что недоверие вошло в него раньше, чем лю-

бовь успела стать опорой.

Митрополит Макарий смотрел на Ивана внимательно и строго.

Он был одним из немногих, перед кем молодой государь не позволял себе ни мальчишеского раздражения, ни холодного высокомерия. Не потому, что боялся митрополита. Иван вообще редко признавался себе в страхе. Но в Макарии была сила, не нуждавшаяся в громком голосе.

Перед началом обряда они недолго оставались вдвоём в примыкавшей к собору палате.

— Знаешь ли ты, государь, что сегодня принимаешь? — спросил митрополит.

— Царство.

— Это слово. Что под ним?

Иван ответил не сразу.

— Земля.

— Какая?

— Вся, что под моей рукой. Москва, Новгород, Псков, Рязань, Владимир, Тверь, земли до Белого моря, до Вятки, до Оки.

— Земля — не только города и реки.

— Люди, — сказал Иван.

— Какие люди?

В глазах молодого государя мелькнуло нетерпение.

— Всекие. Верные и неверные. Добрые и злые. Сильные и слабые.

— И за всех ответишь.

— За неверных тоже?

— За неверного ответишь судом. За невиновного, которого назовёшь неверным, — кровью.

Иван поднял голову.

— А если я стану долго различать, они погубят государство.

— Если не станешь различать, государство погубишь ты.

Эти слова мог произнести не каждый. Но Макарий говорил без вызова, почти печально.

Иван отвернулся.

За маленьким окном лежала Москва. Отсюда не были видны ни грязные дворы, ни нищие у церквей, ни люди, замерзающие зимой в нетопленных избах. С высоты города всегда кажутся прекраснее, чем изнутри. Возможно, поэтому власть так легко привыкает судить о жизни сверху.

— Меня учили, что государь должен быть грозен, — произнёс Иван.

— Гроза очищает воздух, но она же сжигает дом. Не всякий испуганный тобою станет верным.

— А не испуганный?

— Не всякий неиспуганный станет изменником.

Иван усмехнулся, но в усмешке не было веселья.

— Ты хочешь, чтобы я был милостив.

— Я хочу, чтобы ты был справедлив. Милость без справедливости рождает беззаконие. Гнев без справедливости

рождает кровь.

Из собора донеслось пение.

Макарий поднялся.

— Пора.

Иван задержал его.

— Владыка.

— Что?

— Когда возложат венец... я почувствую себя иным?

Митрополит долго смотрел на него.

— Нет. В том и опасность.

Они вошли в собор.

Обряд начался.

Слова молитв поднимались под своды, сливаясь с запахом ладана, трепетом свечного пламени и едва слышным шелестом одежд. Иван произнёс положенные речи. Ему подали крест Животворящего Древа, бармы, шапку Мономаха. Всё совершалось размеренно, торжественно и так, словно этот путь был определён задолго до его рождения.

Когда шапка коснулась головы, Иван ощутил тяжесть.

Не такую, какой ожидал.

Она не придавила его и не заставила склониться. Однако именно эта умеренность была страшнее. Власть редко обрушивается на человека всей своей тяжестью сразу. Сначала она кажется выносимой. Почти естественной. Человек привыкает повелевать, как привыкает носить оружие. Потом наступает день, когда он уже не отличает собственную волю от

закона, обиду — от государственной необходимости, страх — от прозорливости. Но к тому времени венец так долго лежит на голове, что снять его значит потерять вместе с властью самого себя.

Иван смотрел на огни.

В памяти возникло лицо матери.

Он не мог вспомнить его целиком. Только белую руку, запах тёплой ткани, золотую нить на рукаве. Потом — другие лица: Шуйские, Бельские, Глинские, бояре, которые спорили, хватали друг друга, исчезали, возвращались, клялись ему в верности и при этом распоряжались его жизнью.

Теперь они стояли перед ним.

Кланялись ему.

Называли царём.

В сердце юноши поднялось чувство, которое он принял за освобождение.

Никто больше не посмеет обращаться с ним как с ребёнком.

Никто не войдёт в его палату без дозволения.

Никто не станет решать за него, кому жить, кому владеть землёй, кому идти в поход.

Он будет судить сам.

И именно в эту минуту, когда собор наполнился торжественным пением, а люди увидели в молодом правителе помазанника, в душе Ивана впервые соединились две мысли, которым суждено было определить многие годы его царство-

вания: мысль о великом предназначении Руси и мысль о том, что выполнить это предназначение он сможет лишь тогда, когда ничья воля не встанет между ним и государством.

Первая мысль могла возвеличить страну.

Вторая однажды могла залить её кровью.

Но будущее милосердно к человеку лишь в одном: оно никогда не показывает себя целиком.

После завершения обряда Иван вышел из собора уже царём.

Над Кремлём ударили колокола.

Площадь вздрогнула от человеческого гула. Люди крестились, падали на колени, тянулись увидеть государя. Одни плакали от умиления, другие кричали здравицы, третьи молчали, потому что находились слишком далеко и не понимали, что происходит у соборных дверей.

Русская земля принимала царя.

В это же время в небольшой дьячьей палате у кремлёвской стены Тимофея Воронца допрашивали, не снимая с него окровавленного кафтана.

— Ещё раз, — потребовал сухой человек с узкой бородой.

— Откуда прибыли?

— Из Нижнего.

— По чьему приказу?

— Муромского воеводы.

— Грамота есть?

— Была у Фомы.

— Которого ты нашёл убитым?

— Которого убили при мне.

— А ты остался жив.

— Как видишь.

Допросчик поморщился.

— Не дерзи.

— Я не дерзил, пока ты в третий раз не спросил одно и то же.

Стоявший у окна человек обернулся.

До этого он не вмешивался. Был он лет тридцати или немного моложе, худой, невысокий, в тёмном кафтане без боярской роскоши. Его можно было принять за одного из многочисленных подьячих, проводивших жизнь среди грамот, счётов и посольских записей.

Лицо у него было непримечательное, если не считать глаз.

Эти глаза словно постоянно читали — даже тогда, когда перед ними не было бумаги.

— Оставь его, Андрей, — сказал он.

— Иван Михайлович, человек пришёл ночью, весь в крови, без грамоты, спутник его мёртв...

— Именно поэтому повторение вопроса не вернёт грамоту и не воскресит спутника.

Допросчик умолк.

Иван Михайлович Висковатый подошёл к Тимофею.

— Саблю отдал?

— Отняли у ворот.

— Хорошо. Теперь расскажи всё сначала. Не думай о том, что важно. Говори всё, что видел.

Тимофей начал.

Он рассказал о дороге из Нижнего, о молчании Фомы, о кожаном футляре, о шагах за спиной, о нападении, о высоком человеке, о серебряной застёжке в виде волчьей головы. Передал последние слова Кривого.

Висковатый не перебивал.

Только один раз поднял руку.

— Он сказал именно «свод»?

— Именно.

— Не «список»? Не «книга»?

— Нападавшие кричали о книге. Фома сказал о своде.

— Дальше.

Тимофей рассказал о ладанке.

— Где она?

— У меня.

Андрей шагнул к нему, но Висковатый остановил его взглядом.

— Дай.

Тимофей не двигался.

— Фома велел отдать государю.

— Государь сейчас в соборе.

— Подожду.

— Ты можешь ждать до вечера, до завтра или до собственной смерти. К царю не входят с улицы только потому, что

умирающий человек велел передать ему обрывок бумаги.

— Тогда отведи меня к тому, кто может войти.

Висковатый посмотрел на его рассечённую шапку, засохшую кровь на рукаве, опухшую скулу.

— Ты всегда такой упрямый?

— Когда прав — всегда.

— Это опасная привычка.

— Фома говорил, что смерть не самое худшее.

— Фома знал, о чём говорил.

Висковатый протянул ладонь.

— Я не прошу отдать мне бумагу. Покажи.

Тимофей достал ладанку, развернул и положил обрывок на стол, не выпуская его из пальцев.

Висковатый склонился.

Прочёл четыре имени.

Потом три названия городов.

Когда увидел знак соединённых арок, лицо его изменилось.

Это было едва заметно, но Тимофей заметил.

— Ты знаешь этот знак.

Висковатый не ответил.

— Знаешь, — повторил Тимофей.

— Я знаю, что ты не должен был его видеть.

— Теперь увидел.

— Тем хуже для тебя.

— Так все сегодня говорят.

Висковатый выпрямился и обратился к Андрею:

— Найди стражу, которая обнаружила тело. Пусть никого к нему не подпускают. Проверь постоянный двор, где эти двое остановились. И никому ни слова о своде.

— А ему?

— Его оставь.

Когда дверь закрылась, Висковатый ещё раз прочёл имена.

— Кто они? — спросил Тимофей.

— Один умер семь лет назад. Другой сейчас служит в Казани. Третий считается пленником. Четвёртого я не знаю.

— Почему имена собраны вместе?

— Вот это нам и предстоит понять.

— Нам?

— Ты видел нападавших.

— Лица были закрыты.

— Лицо — не единственная часть человека. Голос, походка, оружие, одежда, слова, привычка держать саблю — всё говорит. Большинство людей видит только то, на что заранее приготовилось смотреть. Ты заметил застёжку.

— Она была перед глазами.

— Перед глазами у тебя был клинок. И всё же ты увидел застёжку.

Висковатый взял чистый лист и быстро переписал имена.

— Что такое свод? — спросил Тимофей.

Подьячий положил перо.

— Ты думаешь, свод — одна книга?

— Фома нёс футляр.

— Он нёс часть.

— Часть чего?

Висковатый подошёл к двери, проверил засов.

— Много лет с восточного рубежа приходят вести. О казанских князьях. О людях, которых можно склонить на московскую сторону. О русских пленниках. О торговцах, согласных передавать сведения. О дорогах, бродах, запасах хлеба, ханских распрях. Одни записи хранятся в Казне, другие — у воевод, третьи знают лишь те, кто их принёс. Так безопаснее.

— А кто-то собирает их вместе.

— Да.

— Зачем?

— Собранные вместе, они становятся оружием. Тот, кто получит все имена, сможет уничтожить наших людей в Казани. Тот, кто узнает дороги и тайные уговоры, будет ждать полки там, где они уязвимы. Тот, кто поймёт, кому Москва доверяет, сможет подменить верного человека изменником, а изменника сделать советником.

Тимофей посмотрел на знак.

— Давно это началось?

— Первый такой лист появился при покойной великой княгине Елене Васильевне. Тогда решили, что это случайность. Второй — три года назад. Потом исчез человек, который пытался выяснить, кто их переписывает.

— Его убили?

— Он пропал.

— Разница невелика.

— Для его семьи — огромна. Могила даёт право оплакать.

Неизвестность заставляет ждать всю жизнь.

Висковатый снова посмотрел на обрывок.

— Фома должен был привезти имена тех, кто собирает свод?

— Он не сказал.

— Значит, мог.

Снаружи гремели колокола. Стены палаты едва заметно дрожали.

— Государя венчали? — спросил Тимофей.

— Венчали.

— Тогда отведи меня к нему.

Висковатый усмехнулся.

— Ты полагаешь, после принятия царского венца государю нечем заняться, кроме как выслушивать сына боярского из Муром?

— Фома умер ради этого.

— Люди часто умирают ради того, чего не понимают.

— Он понимал.

— Откуда ты знаешь?

— Потому что боялся не смерти.

Висковатый перестал улыбаться.

Некоторое время он ходил по палате, заложив руки за спи-

ну. Потом остановился.

— Что именно сказал высокий человек?

— «Отдай свод, Фомка. Не за свою жизнь упрямишься».

— Он назвал его Фомкой?

— Да.

— В Нижнем его звали Кривым. В грамотах — Фёдором Карповым. Фомой его называли только в детстве.

Тимофей почувствовал холод, хотя в палате было натоплено.

— Значит, убийца знал его давно.

— Или говорил с тем, кто знал.

— И он служит в Москве?

— Не торопись. Поспешный вывод удобен тем, что избавляет от размышления. А удобная мысль чаще всего и приводит сыск в ложное место.

Висковатый достал из ларца небольшую дощечку, на которой лежали несколько старых листов. Выбрал один и положил рядом с обрывком.

На старом листе был тот же знак — три соединённые арки.

Под ним стояла надпись:

«Первые врата — страх. Вторые — корысть. Третьи — кровь».

— Кто это написал? — спросил Тимофей.

— Человек, исчезнувший три года назад.

— Что означают врата?

— Не знаю.

— А слово «внутри»?

— Может означать, что враг среди нас.

— Или что Казань можно взять изнутри.

— Или и то и другое.

Висковатый тщательно завернул оба листа.

— Теперь я отведу тебя не к государю.

Тимофей нахмурился.

— К митрополиту Макарию. Если он решит, что дело должно быть доложено царю сегодня, ты расскажешь всё ещё раз. Но запомни: ни одного лишнего слова. В Кремле стены не только слышат. Иногда они отвечают тому, кто платит.

Они вышли из палаты.

На площади всё ещё стоял народ. Царь уже находился во дворце, но люди не расходились, словно надеялись одним своим присутствием удержать торжество и не дать обычной жизни начаться снова.

Тимофей шёл за Висковатым, чувствуя боль в боку и тяжесть чужой крови на одежде.

Ему казалось странным, что вокруг столько радости. Ещё несколько часов назад человек умер у него на руках, а теперь звонили колокола, сверкали одежды, кричали здравицы. Но мир устроен так, что великое и страшное всегда совершаются одновременно. В одном доме празднуют свадьбу, в соседнем отпевают ребёнка; на одной площади народ приветствует государя, а в тёмном проезде уже начинается преступление, которое спустя годы приведёт к гибели тысяч людей.

У дворцового перехода их остановили.

Висковатый назвал своё имя и передал короткую записку.

Они ждали долго.

Наконец появился пожилой священнослужитель и велел войти.

Макарий находился в небольшой палате. Торжественное облачение он ещё не снял. Рядом стоял молодой царь.

Тимофей опустился на колени.

Иван смотрел на него молча.

Молодой человек ожидал увидеть величие, подобное тому, о котором говорят сказители: сияние, непоколебимое спокойствие, почти нечеловеческую силу. Но увидел худого юношу с утомлённым лицом. Лишь глаза были необыкновенными — внимательными, быстрыми и тяжёлыми. Казалось, он не просто смотрит на человека, а ищет в нём скрытую угрозу.

— Встань, — сказал Иван.

Тимофей поднялся.

— Это тот, о ком ты сообщил? — спросил царь Висковатого.

— Он сопровождал Фёдора Карпова из Нижнего.

— Карпов мёртв?

— Убит ночью возле Неглинной.

Иван посмотрел на окровавленный кафтан Тимофея.

— Сколько было нападавших?

— Трое, государь.

— Ты сражался?

— Да.

— Почему жив?

Вопрос прозвучал без насмешки.

— Один оказался слабее, чем думал. Второй торопился.

Третий убивал не меня.

— Хороший ответ.

Макарий нахмурился.

— Человек не виноват в том, что Господь сохранил его.

— Я его не виню, владыка. Я хочу понять.

Иван подошёл ближе.

— Ты видел лицо убийцы?

— Нет.

— Тогда что видел?

Тимофей рассказал о росте, голосе, манере держать саблю, дорогом вишнёвом сукне и серебряной волчьей голове.

— Он воин? — спросил царь.

— Воин или долго учился у хорошего воина.

— Русский?

— Говорил как русский.

— Это не ответ.

— Когда я задел его клинок, он выругался по-русски, государь. Человек может выучить чужую речь для разговора, но боль и гнев чаще говорят на родном языке.

В глазах Ивана мелькнул интерес.

— Кто тебя этому научил?

— Отец.

— Где он?

— Погиб под Муромом во время казанского набега.

— А мать?

— Жива.

— Земля осталась?

— Половина. Другую заложили, чтобы выплатить службу и долги.

Иван помолчал.

Возможно, впервые за этот день перед ним стоял не символ, не боярин, не участник торжества, а человек из той огромной земли, власть над которой он принял. Человек, чьё поместье разорили, чей отец погиб, чья мать платила за государеву службу собственной нуждой.

Власть любит говорить о земле целиком. Но Отечество существует не целиком. Оно состоит из отдельных дворов, могил, полей, матерей, ожидающих сыновей, и воинов, которые идут защищать государство, хотя само государство порой не успевает защитить их дом.

— Ты ненавидишь казанцев? — спросил Иван.

Тимофей задумался.

— Тех, кто убил отца, ненавижу.

— А остальных?

— Не знаю их.

Ответ удивил царя.

— Многие сказали бы иначе.

— Многие говорят государю то, что, как им кажется, он хочет услышать.

Макарий едва заметно повернул голову к Ивану.

Царь долго смотрел на Тимофея, затем неожиданно рассмеялся. Смех его был коротким и ещё совсем молодым.

— Ты либо храбр, либо глуп.

— Отец говорил, государь, что эти свойства часто живут рядом.

— Покажи лист.

Тимофей передал ладанку Висковатому. Тот развернул бумагу на столе.

Иван прочёл имена.

При виде одного из них он нахмурился.

— Этого человека я знаю.

— Кто он? — спросил Макарий.

— Михаил Ряполовский. Служил при дворе моей матери.

— Он умер, — сказал Висковатый.

— Мне известно.

— Остальные связаны с Казанью.

Иван указал на знак.

— А это?

Висковатый объяснил всё, что знал о своде, старых листах и исчезнувшем человеке.

Царь слушал, не перебивая.

С каждым словом лицо его делалось всё более неподвижным.

— Сколько людей знали, что Карпов едет в Москву? — спросил он наконец.

— Муромский воевода, два его дьяка, человек в Нижнем, отправивший Карпова, я и тот, кому предназначались сведения.

— Ты?

— Да, государь.

— Значит, Воронеж должен подозревать и тебя.

— Должен.

Тимофей посмотрел на Висковатого.

Тот выдержал его взгляд спокойно.

— А я должен подозревать его, — продолжил подьячий.

— Он мог убить Карпова сам, придумать троих нападавших и принести нам тот лист, который ему велели принести.

— Я не убивал! — вырвалось у Тимофея.

— Не кричи перед государем.

— Пусть говорит, — сказал Иван. — Невинный тоже кричит. Иногда громче виновного.

Макарий подошёл к столу.

— Государь, это дело требует осторожности. Подозрение подобно огню: если пустить его без меры, оно не выберет виновных, а пожрёт всех.

— Огонь можно ограничить.

— Только пока он мал.

Иван провёл пальцем над четырьмя именами, не касаясь бумаги.

— Фома сказал, что врата Казани отворяют из Москвы?

— Да, государь.

— Что ты понял из этих слов?

Тимофей ответил:

— Что кто-то здесь помогает хану.

— Слишком просто.

— Тогда кто-то хочет, чтобы мы так подумали.

Царь поднял глаза.

— Продолжай.

— Если убитый боялся измены в Москве, он мог прямо назвать изменника. Но он говорил о вратах. Значит, либо не знал имени, либо знал, что одно имя ничего не решит.

— Почему?

— Потому что свод собирает не один человек.

В палате стало тихо.

За стенами гремели праздничные колокола.

Иван подошёл к окну. На площади всё ещё стояли люди. Издалека они казались единым народом, слившимся в одну тёмную массу. Но царь уже начинал понимать: единство видно лишь с высоты. Внизу у каждого своя правда, свой страх, своя корысть, своя память. Управлять государством — значит заставить миллионы отдельных судеб двигаться в одном направлении, хотя ни одна из них не видит всей дороги.

— Мы пойдём на Казань, — сказал Иван.

Это прозвучало не как предположение.

Как решение, принятое задолго до этой встречи.

— Казань держит Волгу. Из Казани приходят на наши земли, уводят людей, жгут города. Пока там решают, когда наступать на Русь, мира на востоке не будет.

Макарий слушал его внимательно.

— Но если свод существует, — продолжал царь, — всякий поход начнётся с того, что враг узнает о нём раньше наших полков.

— Поэтому сыск должен быть тайным, — сказал Висковатый.

— Насколько тайным?

— Настолько, чтобы даже люди, ведущие сыск, не знали друг о друге всего.

— Тогда каждый станет подозревать каждого.

— Уже стал, государь.

Иван обернулся к Тимофею.

— Ты хочешь отомстить за Карпова?

— Да.

— За отца?

— Да.

— Это плохо.

Тимофей не ожидал таких слов.

— Почему?

— Месть торопится. Мне нужен человек, который умеет ждать.

— Я ждал от Нижнего до Москвы, не задавая Фоме вопросов.

— Но задал Висковатому.

— Он не Фома.

Уголок рта царя дрогнул.

— Хорошо. Будешь служить при нём.

Тимофей посмотрел на подьячего.

— Я воин, государь.

— Значит, сумеешь защитить его.

— Я не переписчик.

— Значит, станешь замечать то, чего не видят переписчики.

— У меня есть служба в Муроме.

— Теперь служба здесь.

Это было сказано просто, но за словами стояла власть, полученная Иваном лишь несколько часов назад. Власть впервые коснулась судьбы Тимофея, изменила её без совета с ним и, возможно, навсегда.

— Найдите тех, кто убил Карпова, — приказал царь. — Узнайте, кто собирает свод. Не хватайте людей ради признаний. Мне нужны имена виновных, а не удобные жертвы.

Макарий посмотрел на него с одобрением.

Молодой Иван заметил этот взгляд.

— Что, владыка?

— Сегодня ты сказал как государь.

— Разве утром говорил иначе?

— Утром тебя называли государем другие. Сейчас ты впервые повелел себе.

Иван снова посмотрел на лист.

— А если след приведёт к человеку рядом со мной?

Висковатый ответил не сразу:

— Тогда нам потребуется больше доказательств, чем против простого человека.

— Почему?

— Потому что приближённого труднее обвинить.

Макарий произнёс:

— Потому что приближённого легче оклеветать.

Царь молчал.

Возможно, именно этот ответ ему предстояло помнить всю жизнь. Возможно, если бы он помнил его всегда, многие судьбы сложились бы иначе. Но человеческая память устроена несправедливо: обиды она хранит крепче наставлений, подозрения — дольше доказательств, страх — дольше благодарности.

Иван взял обрывок и ещё раз прочёл слово:

«Внутри».

— Начинайте, — сказал он.

Тимофей поклонился.

Когда они с Висковатым вышли, праздничный звон уже стихал.

— Что теперь? — спросил Тимофей.

— Теперь осмотрим тело, — ответил подьячий. — Потом постоянный двор. Потом найдём человека с волчьей застёжкой.

— Ты знаешь, кто носит такие?

— Знаю многих.

— Среди них есть бояре?

— Есть.

— Люди Глинских?

Висковатый остановился.

— Никогда не произноси имя знатного рода только потому, что оно первым пришло тебе в голову.

— Боишься?

— Боюсь не рода. Боюсь лёгкого ответа. Самые страшные ошибки начинаются тогда, когда человек находит виновного раньше, чем понял преступление.

Они спустились с крыльца.

Москва продолжала праздновать. На улицах раздавали милостыню, у храмов пели, торговцы уже обсуждали, какую выгоду принесёт новый царский титул, а нищие надеялись, что новый государь окажется щедрее прежнего великого князя, не понимая, что это один и тот же человек.

У Фроловских ворот Тимофей оглянулся на Кремль.

Теперь там был царь.

Но где-то рядом находился и человек, приказавший убить Фому Карпова. Может быть, он тоже стоял сегодня в Успенском соборе. Может быть, кланялся Ивану, целовал крест, возглашал здравицу. Может быть, видел Тимофея на площади и уже знал, что тот остался жив.

— Иван Михайлович, — сказал Тимофей.

— Что?

— Фома ошибся.

— В чём?

— Он сказал, что врата Казани отворяют из Москвы.

— И что?

— Пока их не отворяют. Пока только ищут ключ.

Висковатый посмотрел на него.

— Нет, Тимофей Игнатьевич. Ключ уже нашли.

— Какой?

Подьячий перевёл взгляд на кремлёвские стены.

— Человеческий страх.

Они пошли к Неглинной.

А в одной из тёмных палат неподалёку неизвестный человек развернул похищенный кожаный футляр и обнаружил, что главного листа в нём нет.

Он перечитал содержимое дважды.

Потом бросил футляр в огонь.

— Воронеж, — произнёс он, запомнив имя молодого сына боярского.

За его спиной стоял высокий мужчина в однорядке с серебряной волчьей застёжкой.

— Убрать его? — спросил высокий.

Неизвестный покачал головой.

— Нет.

— Почему?

— Мёртвый человек уносит тайну. Живой ведёт нас к тем,

кому её доверяет.

Он подождал, пока кожа в огне свернётся и почернеет.

— Пусть ищет.

— А если найдёт?

Неизвестный улыбнулся.

— Тогда государь узнает, как легко честного человека сделать изменником.

За окном снова ударил колокол.

Так начался первый день Русского царства.

И первый день тайного сыска, которому предстояло пройти через Казань и Астрахань, Ливонию и Москву, измену Курбского и опричные казни, разорённый Новгород и устрашённый Псков, гибель игумена Корнилия и великий пролом, над которым спустя тридцать четыре года поднимут чудотворную икону.

Но пока перед Русью лежала Казань.

И молодой царь ещё верил, что сумеет научиться отличать врага от верного слуги.

Глава вторая. Женщина из прошлого

Мёртвые редко помогают сыску.

Они не называют убийц, не исправляют неверно понятых слов, не объясняют, почему в последнюю минуту пошли не той дорогой и кому собирались передать спрятанное послание. Всё, что остаётся после человека, — положение тела, складки одежды, засохшая кровь, случайная соринка, след на снегу — принадлежит уже не ему, а тем, кто способен увидеть в молчании смысл.

Тело Фомы Карпова перенесли в небольшую холодную церковь неподалёку от Неглинной. Священник сперва противился осмотру, говорил, что над покойником следует читать Псалтирь, а не выворачивать его карманы, но, узнав имя Висковатого и увидев приказ с кремлёвской отметкой, отступил к алтарю и принялся молиться громче, словно хотел защитить мёртвого от чрезмерного любопытства живых.

Фома лежал на широкой лавке.

Его умыли, кровь с лица стёрли, бороду расчесали. Теперь он выглядел спокойнее, чем при жизни. Смерть вообще умеет придавать человеку ту простоту, которой ему не хватало среди забот, притворства и страха. Она стирает различия между богатыми и бедными, победителями и побеждёнными, любимыми и одинокими; но именно поэтому живые так боятся её равенства и до последнего стараются сохранить

хотя бы память о земном различии.

Тимофей стоял у изголовья.

Он не знал Фому по-настоящему. Несколько дней пути, короткие разговоры, ночёвки на постоянных дворах — и всё же теперь ему казалось, что смерть этого человека навсегда связала их крепче, чем иной раз связывает людей многолетняя дружба.

— Что ищем? — спросил он.

Висковатый не ответил.

Он осматривал руки убитого.

Пальцы Фомы были широкими, с чёрными трещинами возле ногтей. Руки торговца, перевозчика или человека, привыкшего самостоятельно седлать коня, править лодкой и разжигать огонь в дороге. На правом указательном пальце темнел старый ожог. На левом запястье — тонкий шрам.

— Ты говорил, что он схватил высокого за рукав? — спросил Висковатый.

— Да.

— Крепко?

— Ткань натянулась. Я увидел под однорядкой вишнёвое сукно и застёжку.

Висковатый осторожно разжал пальцы покойного.

Под ногтем обнаружилась короткая нить.

Не чёрная и не бурая от крови.

Тёмно-красная.

— Вишнёвая, — сказал Тимофей.

— Может быть.

— Такая же, как кафтан убийцы.

— Может быть.

— Ты всякий раз будешь говорить «может быть»?

— До тех пор, пока сомнение полезнее уверенности.

Висковатый вынул иглу, поддел нить и положил её на кусок чистой бумаги.

— Сукно дорогое, — заметил Тимофей.

— По одной нити цену не определишь.

— Но ты уже определил.

Висковатый мельком взглянул на него.

— Фламандское или английское. Тонкое, плотно валяное. Таким торгуют не на всяком ряду.

— Значит, убийца богат.

— Или служит богатому.

— Или украл одежду.

— Или нарочно её надел.

Тимофей вздохнул.

— С тобой легко разговаривать.

— Сыщик, который любит лёгкие разговоры, скоро начинает любить лёгких виновных.

Висковатый осмотрел рану.

Удар был нанесён снизу, точно под ребро. Клинок вошёл глубоко и повернулся внутри. Не случайная рубка в темноте. Убийца знал, куда бить, и не сомневался.

— Он хотел убить наверняка, — сказал Тимофей.

— Да.

— Почему тогда не убил меня?

— Ты мешал, но не был целью.

— Теперь я видел его.

— Лица не видел.

— Он не мог знать, что я не запомню голос.

Висковатый выпрямился.

— Значит, либо он уверен, что голос не приведёт к нему, либо хочет, чтобы ты продолжал поиски.

— Зачем?

— Этого я пока не понимаю.

Под кафтаном Фомы нашли небольшой медный образок, несколько монет, огниво, складной нож, мешочек соли, два обломанных пера и нитку с узлами. На внутренней стороне пояса был пришит потайной карман, но он оказался пуст.

— Футляр был здесь, — решил Висковатый.

— Да.

Он осмотрел швы.

Ткань возле кармана была распорота грубо. Нападавшие торопились.

Тимофей отвернулся к окну.

На стекле замёрзли белые узоры. За ними угадывалось тусклое зимнее утро.

— Его похоронят как следует? — спросил он.

— Если узнаем, где его дом.

— Он говорил, что родом с Нижнего.

— Родом человек может быть из одного места, служить в другом, иметь жену в третьем и могилу в четвёртом.

— А если семьи нет?

— Тогда заплатит государева казна.

Тимофей посмотрел на Висковатого с недоверием.

— Правда?

— Если я сумею заставить её заплатить.

— Думал, государева казна исполняет всё, что велит государь.

— Государь повелевает. Дьяки находят причину, почему исполнить невозможно. На этом держится половина управления.

Уже собираясь уходить, Тимофей заметил на груди Фомы небольшую царапину, скрытую волосами.

— Подожди.

Он наклонился.

Царапина была свежая, но не похожая на след клинка. Кожа покраснела в форме короткой дуги.

Висковатый коснулся её пальцем.

— Что висело на шее?

— Крест и ладанка.

— Ладанка кожаная. Такой след не оставит.

Они осмотрели верёвку. На ней имелся ещё один узел, недавно развязанный или перерезанный.

— Что-то сняли, — сказал Тимофей.

— Или Фома сам отдал.

— Медальон?

— Знак. Ключ. Вторая ладанка.

— Почему нападавшие нашли футляр, но не нашли лист?

— Потому что он спрятал лист возле креста. А то, что висело здесь, они, возможно, искали в первую очередь.

Висковатый накрыл тело полотном.

— Теперь на постоянный двор.



Подворье, где остановились Тимофей и Фома, находилось на Варварке, в тесном проезде между каменными палатами богатых купцов и деревянными домами тех, кто надеялся однажды стать богатыми.

Над воротами висела доска с вырезанной липовой ветвью. Хозяйка, Прасковья Даниловна, была вдовой с тяжёлыми руками и быстрыми глазами. Увидев Тимофея без Фомы, она перекрестилась, но спросила не о покойнике:

— За комнату кто заплатит?

— Государева казна, — ответил Тимофей.

Висковатый посмотрел на него.

— Если сумеем заставить её заплатить, — добавил Тимофей.

Хозяйка поджала губы.

— Государева казна по моим долгам не ходит. Мне деньги нужны сегодня.

— Получишь, — сказал Висковатый и положил на стол монету. — Кто приходил к Фоме?

— Никто.

— Подумай.

— Я с первого раза хорошо думаю.

— Тогда скажи правду с первого раза.

Прасковья Даниловна посмотрела на монету, затем на его лицо и поняла, что перед ней человек, который не повысит голос, не пригрозит дыбой, но всё равно узнает то, что ему нужно.

— Женщина приходила, — сказала она.

Тимофей насторожился.

— Когда?

— Вчера, перед вечерней службой. Молодая. Лицо закрыто.

— Одна?

— С девкой.

— Имя назвала?

— Спросила Фому Карпова. Не Фёдора, не Кривого. Фому.

— Сколько пробыла?

— Недолго. Он её в горницу не впустил. Говорили на лестнице.

— О чём?

— Я не слушаю чужих разговоров.

— Конечно.

— Только слышала, как она сказала: «Григорий жив?»

Висковатый и Тимофей переглянулись.

— Что ответил Фома?

— Не расслышала. Потом он дал ей что-то маленькое. Она заплакала.

— Громко?

— Такие не плачут громко. Только рукой за перила схватилась. Будто упасть боялась.

— Какие — такие? — спросил Тимофей.

— Те, кого с детства учили, что чужие не должны видеть их слабость.

Снаружи заскрипели ворота.

Прасковья Даниловна выглянула в окно.

— Вот она.

Тимофей услышал шаги в сенях.

Сначала быстрые и лёгкие — служанки. Затем другие — спокойнее. Шорох шерсти, тихий звон подвески, приглушённый женский голос:

— Он вернулся?

У Тимофея сжалось сердце.

Не от страха.

Страх он уже знал и научился узнавать по тому, как холодеет живот и обостряется слух. Это было другое: словно из глубины памяти поднялось то, что он много лет приучал себя считать умершим.

Дверь открылась.

Вошла молодая женщина в тёмно-синей шубке, подбитой беличьим мехом. На голове — высокий собольий убор, с ко-

торого спускалась тонкая вуаль. За ней стояла круглолицая девушка-служанка.

Женщина сделала два шага и остановилась.

Тимофей не видел её лица полностью, но уже знал.

Некоторых людей мы узнаём не глазами. По наклону головы, по движению руки, по тому, как они входят в комнату и будто меняют в ней воздух.

— Марья, — произнёс он.

Она вздрогнула.

Медленно подняла вуаль.

За те годы, что они не виделись, её лицо стало тоньше. Исчезла девичья округлость щёк, взгляд сделался серьёзнее. Но глаза остались прежними — светло-кариими, с золотистыми точками возле зрачков, которые Тимофей когда-то сравнивал с песком на мелководье Оки.

— Тимофей?

Его имя прозвучало так, словно она не произнесла его, а открыла давно запертую дверь.

Прасковья Даниловна посмотрела на Висковатого с живейшим любопытством.

Тот сказал:

— Оставьте нас.

Хозяйка неохотно вышла. Служанка Марьи осталась у двери.

Несколько мгновений никто не говорил.

Тимофей думал, что, если когда-нибудь снова увидит Ма-

рю, то сумеет объяснить всё. Расскажет про смерть отца, долги, заложенную землю, про то, почему не приехал, не послал сватов, не написал даже короткой грамоты.

Но годы, которые в разлуке казались наполненными убедительными причинами, при встрече превратились в одно простое человеческое отсутствие.

Его не было рядом.

И никакое объяснение не могло изменить этого.

— Ты жив, — сказала Марья.

— Жив.

— Я слышала, что муромский отряд попал под казанцев.

— Попал.

— Говорили, многие погибли.

— Многие.

Она смотрела на него так, словно не могла решить, радоваться ли тому, что слух оказался ложным, или гневаться, что он позволил ей верить в свою смерть.

— Ты мог написать.

— Мог.

— Почему не написал?

Висковатый отвёл взгляд к окну, но не вышел.

— Мне нечего было тебе предложить, — ответил Тимофей. — После гибели отца земля оказалась в долгах. Мать с сёстрами едва держались. Я уходил на службу, не зная, вернуться ли.

— Я не спрашивала, сколько у тебя земли.

— Твой отец спрашивал бы.

— Отец — не я.

— Дочь не может выйти замуж без воли отца.

— Но человек может сказать другому человеку правду.

Тимофей молчал.

Марья сняла перчатку. На безымянном пальце не было кольца, и от этого он почувствовал надежду, которой не имел права чувствовать.

— Я ждала, — сказала она.

Тихо.

Без упрёка.

И именно поэтому эти слова ударили сильнее.

— Сначала каждую неделю. Потом по большим праздникам. Потом только когда приходили люди из Муромы. Я спрашивала, не видели ли они тебя. Они говорили: служишь, был ранен, снова ушёл. Однажды сказали, что ты собираешься жениться.

— Это неправда.

— Теперь я знаю.

— Откуда?

— Потому что, будь у тебя жена, ты не смотрел бы на меня так.

Тимофей опустил глаза.

Любовь редко умирает в тот день, когда люди расстаются. Чаще она продолжает жить в них тайно, питаясь воспоминаниями, несказанными словами и вымышленными встре-

чами. Человек строит вокруг неё новую жизнь, убеждает себя, что забыл, исполняет долг, смеётся, работает, молится, а потом слышит один знакомый голос — и всё, что казалось прошлым, снова становится настоящим.

— Марья Семёновна, — вмешался Висковатый. — Фома Карпов убит.

Она побледнела.

Рука её нашла край стола.

Прасковья Даниловна была права: Марья не вскрикнула и не заплакала. Только пальцы сжались так сильно, что побелели.

— Когда?

— Этой ночью.

— Здесь?

— Возле Неглинной.

Она посмотрела на Тимофея.

— Ты был с ним?

— Да.

— И не уберёг.

Слова вырвались прежде, чем она успела их остановить.

Тимофей принял их молча.

Марья закрыла глаза.

— Прости. Я не должна была.

— Должна. Я сам это думаю.

— Кто его убил?

— Трое, — ответил Висковатый. — Нам необходимо

знать, зачем вы приходили к нему.

Она сразу стала осторожнее.

— Это семейное дело.

— Теперь оно государево.

— Всё, чего касается государева рука, становится государевым?

— Не всё. Но убийство человека, несущего тайные вести из Казани, — становится.

При слове «Казань» служанка перекрестилась.

Марья посмотрела на неё.

— Акулина, жди в сенях.

— Барышня...

— Иди.

Когда дверь закрылась, Марья подошла к окну.

— Мой брат Григорий пропал четыре года назад, — сказала она. — Он ездил с отцовскими людьми в Казань. Вёз сукно, воск и серебряную посуду. Вернулись не все. Одни говорили, что караван ограбили на дороге. Другие — что Григория схватили ханские люди. Третьи — что он сам остался в Казани.

— Сам? — переспросил Тимофей.

— Отец едва не убил человека, который это сказал.

— Верил в измену сына?

— Отец верит только в то, что может выдержать. Измена сына для него хуже смерти, поэтому он решил, что Григорий погиб.

— А ты?

— Я знала, что он жив.

— Откуда?

Марья вынула из-за пазухи маленький свёрток.

Внутри лежала серебряная подвеска.

Три соединённые арки.

Те же, что были нарисованы на обрывке из ладанки.

Висковатый не коснулся подвески, лишь наклонился ближе.

— Фома отдал это вчера?

— Да.

— Что сказал?

— Что Григорий жив. Что служит при одном из казанских князей переводчиком и пишет в Москву. Не ради денег. Чтобы помогать пленным и передавать вести.

— Назвал князя?

— Нет.

— Объяснил знак?

— Сказал, что брат велел показать его человеку, который придёт после.

— Какому человеку?

— Не успел сказать. Услышал шаги внизу и велел мне уйти.

— Вы заметили кого-нибудь возле подворья?

— Мужчину в сером плаще. Он стоял через дорогу.

— Лица видели?

— Нет.

— Рост?

— Высокий.

Тимофей почувствовал, как в нём всё напряглось.

— Застёжка?

Марья посмотрела на него.

— Какая?

— На плаще или кафтане.

Она задумалась.

— Серебряная. Я заметила, когда он повернулся.

— В виде волчьей головы?

— Да.

Тимофей ударил ладонью по столу.

— Это он.

— Может быть, — сказал Висковатый.

— Опять?

— Высоких людей с серебряными застёжками больше одного. Но теперь мы знаем, что за Фомой следили ещё до ночи.

Висковатый взял подвеску через край ткани.

На обороте были нацарапаны едва заметные буквы.

Он поднёс её к окну.

— Что там? — спросила Марья.

— «Третьи врата открывает близкий».

— Что это значит?

— Пока не знаю.

Тимофей сказал:

— Фома перед смертью говорил о вратах Казани. На другом листе написано: первые врата — страх, вторые — корысть, третьи — кровь.

Марья перевела взгляд с него на Висковатого.

— У вас есть другой лист?

Висковатый не ответил.

— И имя Григория там есть?

Тимофей понял, что выдал больше, чем следовало.

Висковатый посмотрел на него без раздражения, но от этого взгляд оказался ещё тяжелее.

— Есть, — признался он. — Одно из четырёх.

Марья прижала руку к груди.

— Значит, его считают изменником?

— Пока его считают именем на клочке бумаги.

— Для государевых людей этого бывает достаточно.

— Для некоторых — да. Для меня — нет.

Она горько усмехнулась.

— Все, кто служит власти, сначала говорят о справедливости.

— А потом?

— Потом приходит человек ночью, и семья исчезает.

— Такое бывало?

— При боярах Шуйских забрали отцовского приказчика. Его обвинили в краже пошрины. Он вернулся через месяц, но уже никогда не говорил громко и боялся закрытых дверей.

Висковатый некоторое время молчал.

— Я не прошу вас доверять мне. Только не мешайте узнать правду.

— А если правда окажется против моего брата?

— Тогда я скажу.

— И государю?

— И государю.

Марья подошла к нему вплотную.

— А если бумага подложная? Если кто-то написал имя Григория, чтобы его погубить?

— Поэтому он ещё жив. Потому что мы не спешим.

Тимофей видел, как она старается удержать спокойствие.

Ему хотелось подойти, взять её за руку, сказать, что он найдёт Григория, привезёт его из Казани, защитит её и всю её семью. Но он уже знал цену обещаниям, данным без власти над обстоятельствами. В юности человек клянётся легко, потому что считает собственную волю сильнее мира. С возрастом он понимает, что любовь требует не громких слов, а способности остаться рядом, когда слова уже ничего не могут изменить.

— Подвеска останется у меня, — сказал Висковатый.

— Нет, — ответила Марья.

— Она относится к сыску.

— Это весть от брата.

— Если вы унесёте её, человек с волчьей застёжкой придёт за вами.

— Он придёт и без неё.

— Верно.

Висковатый снова завернул серебро.

— Тогда тем более она останется у меня.

Марья повернулась к Тимофею.

— Ты позволишь?

— Он прав.

— Ты теперь служишь ему?

— Государь приказал.

— Государь приказал тебе соглашаться со всем?

— Нет. Только найти убийц Фомы.

Она посмотрела на него, и он увидел в её глазах ту старую обиду, которая за годы успела стать частью любви.

— Ты всегда выбирал долг, — сказала она.

— Разве это плохо?

— Плохо, когда долгом называют страх сделать выбор.

Тимофей хотел возразить, но не сумел.

Потому что она говорила правду.

Он не приехал к ней не только из-за бедности. Он боялся услышать отказ её отца. Боялся увидеть, что она изменилась. Боялся, что любовь потребует от него больше, чем военная служба, где всё было понятнее: стоять, ехать, бить, не отступать.

На войне человек знает врага.

В любви он чаще всего сражается с самим собой.

— Где вы живёте? — спросил Висковатый.

— На Ильинке, возле церкви Николы Большой Крест.

— До окончания сыска одной не выходить. Слугам не рассказывать. Отцу сообщить только то, что Фома убит.

— Отец спросит о Григории.

— Скажите, что известие не подтвердилось.

— Солгать?

— Иногда молчание спасает человека.

— А иногда губит, — сказала Марья, глядя на Тимофея.

Висковатый сделал вид, что не заметил.

— Тимофей проводит вас.

— Я сама доберусь.

— Это не просьба.

— Все мужчины, служащие государю, быстро учатся так говорить?

— Только те, кто хочет дожить до следующего утра.



Они вышли на улицу.

Снег снова начинал падать — мелкий, сухой, похожий на крупу. Акулина шла впереди, недовольно оглядываясь на Тимофея. Она помнила его по Мурому и, судя по выражению лица, считала виновным во всех печалях госпожи.

Марья молчала.

Тимофей шёл рядом, соблюдая расстояние, приличное между неженатыми мужчиной и женщиной. Но каждое движение её руки, каждый поворот головы ощущал так, словно они касались друг друга.

На Варварке былолюдно. Крестьяне везли сено, купцы ругались из-за места у ворот, мальчишки тащили санки, священник торопился к больному. Никто не обращал внимания на мужчину с рассечённой скулой и молодую женщину под тёмной вуалью.

Для Москвы они были двумя прохожими.

Для самих себя — двумя жизнями, которые когда-то могли соединиться, но разошлись потому, что один не решился попросить, а другая оказалась слишком горда, чтобы позвать.

— Ты замужем? — спросил Тимофей.

Марья не повернула головы.

— Нет.

Надежда снова поднялась в нём.

— Но просватана, — добавила она.

Он замедлил шаг.

— За кого?

— За Левонтия Борисовича Сомова.

Тимофей знал это имя. Сомов поставлял сукно и меха для двора, имел лавки в Китай-городе, двор в Москве и торговые связи в Новгороде. Говорили, что он способен купить целую улицу и заставить всех жильцов благодарить его за то, что не купил соседнюю.

— Он старше твоего отца.

— Не настолько.

— У него была жена.

— Умерла.

— Дети?

— Двое.

— И ты согласилась?

Марья остановилась.

Люди обходили их, толкая плечами.

— Когда ты спрашиваешь так, кажется, будто у меня был выбор между ним и тобой.

— Был.

— Где ты был?

Тимофей не ответил.

— Отец потерял большую часть товара, — продолжила она. — После исчезновения Григория казанские должники перестали платить. Один московский человек забрал наш склад за долги. Дом заложен. Сомов обещал вернуть отцу дело.

— За тебя.

— За жену.

— Это одно и то же.

— Нет. Если бы я была вещью, меня продали бы без согласия. Меня спросили.

— И ты согласилась спасти отца.

— А что должна была сделать? Смотреть, как он идёт в долговую яму? Как Акулину продают в другой дом? Как люди, служившие нам двадцать лет, оказываются на улице?

— Любишь его?

Марья долго смотрела на него.

— Он не жесток. Не пьёт. Детей любит. Слово держит.

— Я спросил не об этом.

— А я отвечаю о том, на чём люди живут.

— Люди живут любовью.

Она улыбнулась печально.

— Так говорят те, у кого есть хлеб.

Он вздрогнул.

Марья сразу смягчилась.

— Я не хотела унижить тебя.

— Но сказала правду.

— Не всю. Любовь нужна. Только она не топит печь и не

выкупает дом.

— Значит, всё решено?

— Свадьба после Пасхи.

До Пасхи оставалось несколько месяцев.

Много для человека, которому нечего делать.

Мало для того, кто должен раскрыть заговор, найти убийцу и вернуть себе любовь, потерянную собственной трусостью.

— Я не хочу, чтобы ты выходила за него, — сказал Тимофей.

Она побледнела, но голос её остался ровным.

— Ты опоздал на четыре года.

— Знаю.

— И всё же говоришь.

— Потому что ещё могу опоздать навсегда.

Марья отвернулась.

Акулина впереди остановилась, но женщина жестом велела ей идти дальше.

— Ты думаешь, мне легко? — спросила Марья. — Думаешь, я не представляла, как ты однажды войдёшь в наш двор? Как скажешь отцу, что просишь меня? Как мы уедем в Муром, пусть даже в бедный дом? Я представляла. Потом узнала, что твоя земля разорена, что мать больна. Думала: ты не едешь потому, что тебе трудно. Я ждала. После поняла: ты не едешь потому, что не хочешь.

— Хотел каждый день.

— Человек определяется не тем, чего хочет втайне, а тем, что делает.

— Дай мне время.

— На что?

— Исправить.

— Прошное?

— Будущее.

Она закрыла глаза.

На ресницах таял снег.

Тимофей поднял руку, чтобы коснуться её лица, но остановился. Между ними было полшага — расстояние меньше ширины клинка и больше четырёх лет.

Марья сама сделала движение.

Не к нему.

Только положила ладонь ему на рукав, возле засохшей крови.

— Ты ранен?

— Нет.

— Чья кровь?

— Фомы.

Она не отняла руки.

— Когда мне сказали, что ты мог погибнуть, я пыталась вспомнить последнее слово, которое сказала тебе.

— «Возвращайся».

— Нет. Перед этим.

Он вспомнил.

Летний берег Оки. Низкое солнце. Ей семнадцать, ему восемнадцать. Она сердится, потому что он смеялся над её страхом перед грозой.

— Ты сказала, что ненавидишь меня.

— Я солгала.

— Я знал.

— Потому и не вернулся?

— Потому что был уверен: ты подождёшь.

Марья убрала руку.

— Любовь не должна быть уверена в том, кого оставляет одного.

Они подошли к её дому.

Он был добротный, двухэтажный, с каменным подклетом, но Тимофей заметил запущенность: створка ворот переко-

шена, одна ставня не покрашена, на крыше прохудилась тесина. Семья ещё сохраняла видимость достатка, однако беда уже вошла внутрь и понемногу присваивала вещи.

У ворот стоял высокий человек в богатой шубе.

Левонтий Борисович Сомов.

Он был не стар, как надеялся Тимофей, а крепок, широкоплеч, с ухоженной тёмной бородой. В его лице не было ни жестокости, ни самодовольства. Только спокойствие человека, который привык получать желаемое не угрозой, а терпением и деньгами.

Он посмотрел на Тимофея, затем на Марью.

— Я ждал тебя.

— Была у знакомой.

— Знакомая носит саблю?

— Это Тимофей Игнатьевич Воронец. Мы знали друг друга в Муроме.

— Слышал.

Одного слова оказалось достаточно, чтобы Тимофей понял: Сомов знает больше, чем показывает.

— Левонтий Борисович, — поклонился он.

— Сын Игнатия Воронца?

— Да.

— Хороший был воин. Торговые люди в Муроме его уважали.

— Вы его знали?

— Один раз сидели за одним столом. Он говорил мало и

не торговался за службу. Редкое качество.

Сомов не унижал его. Не хвастался богатством. Не напоминал о помолвке.

От этого Тимофею стало ещё тяжелее.

Ненавидеть злого соперника легко. Гораздо труднее ненавидеть достойного человека, который оказался рядом тогда, когда тебя не было.

— Марья Семёновна устала, — сказал Сомов.

— Я провожал её по государевому делу.

— Значит, должен благодарить.

Он протянул руку, и край шубы разошёлся.

На кафтане Сомова блеснула серебряная застёжка.

Не волчья голова.

Две переплетённые ветви.

Тимофей понял, что смотрел слишком пристально.

Сомов заметил.

— Нравится работа?

— Что?

— Застёжка. Делал немецкий мастер в Новгороде.

— Красивая.

— У меня есть и другие. Звериные головы нынче в моде.

Волки, львы, соколы.

Тимофей почувствовал, как напряглась Марья.

— Волчья у вас есть? — спросил он.

— Была.

— Где теперь?

Сомов улыбнулся.

— Не слишком ли много вопросов для первого знакомства?

— Государево дело.

Улыбка исчезла.

— Тогда спроси прямо.

— Кому вы отдали застёжку с волчьей головой?

— Никому. Её украли осенью вместе с дорожным кафтаном.

— Где?

— На подворье возле Троицкой дороги.

— Заявляли?

— Кому? Вещь дороже стражников, которые стали бы её искать. Купил другую.

Он говорил спокойно.

Слишком спокойно или именно так, как говорит невинный человек, не видящий причины волноваться.

— Как выглядел кафтан? — спросил Тимофей.

— Вишнёвое сукно.

Марья резко вдохнула.

Сомов посмотрел на неё.

— Что случилось?

Тимофей ответил:

— Этой ночью человека убил высокий мужчина в вишнёвом кафтане с волчьей застёжкой.

Сомов медленно повернул голову к нему.

— Ты обвиняешь меня?

— Спрашиваю.

— Нет. Ты хочешь обвинить. Но пока не можешь.

В его голосе впервые прозвучала сталь.

— Где вы были ночью?

— В своём доме. Со слугами, детьми и духовником, который задержался после вечерней молитвы. Можешь спросить всех. И, сын Игнатия, запомни: я не стану жаловаться на тебя за дерзость, потому что уважал твоего отца. Но если ты втягиваешь Марью в опасное дело, твоё прошлое с ней тебя не оправдает.

— Я не втягивал.

— Тогда вытащи.

— Левонтий Борисович, — сказала Марья, — довольно.

Сомов посмотрел на неё, и Тимофей увидел в его лице настоящую заботу.

Это было хуже всего.

— Иди в дом, — мягко сказал Сомов. — Твой отец тревожится.

Марья поднялась на крыльцо.

Перед дверью обернулась.

Она ничего не сказала. Только посмотрела на Тимофея тем взглядом, в котором одновременно жили надежда, упрёк и страх.

Когда дверь закрылась, Сомов подошёл ближе.

— Ты её любишь?

Тимофей не ожидал вопроса.

— Да.

— Давно?

— Давно.

— Где же был?

— Это между мной и ею.

— Нет. Теперь между тобой и мной.

— Она ещё не твоя жена.

— Но дала согласие.

— Из-за долгов отца.

Сомов помрачнел.

— Не оскорбляй её. Марья не продаётся. Я предложил помощь, потому что хочу взять в жёны женщину, которую уважаю. Она согласилась, потому что понимает, что брак — не песня у реки.

— Ты знаешь, что она тебя не любит?

— Знаю.

Тимофей замолчал.

— И всё равно женишься?

— Любовь иногда приходит после брака.

— А если не придёт?

— Я не стану требовать того, чего она не может дать.

— Благородно.

— Не насмехайся. Ты оставил ей мечту. Я предлагаю жизнь.

— Без любви.

— С домом, защитой и спокойствием.

— Спокойствие бывает в могиле.

Сомов приблизился почти вплотную.

— А любовь бывает в песне. Но люди живут не в песнях.

— Почему рассказал о кафтане?

— Потому что он действительно украден.

— Кто знал?

— Слуги. Мастера. Люди на подворье.

— Марья?

— Возможно.

Тимофей почувствовал новый холод.

— Её брат торговал с тобой?

— Григорий Костров помогал мне в Казани.

— Помогал чем?

Сомов понял, что сказал лишнее.

— Спроси у Висковатого, — произнёс он.

— Ты знаешь Висковатого?

— В Москве все торговые люди знают тех, кто читает по-
сольские грамоты.

— Фому Карпова знал?

— Нет.

Ответ последовал слишком быстро.

Тимофей хотел продолжить, но Сомов уже отступил.

— Береги себя, Воронеж. Не ради себя — ради Марьи.

Второй раз твоей смерти она не вынесет.

Он вошёл в дом.

Тимофей остался у ворот.

Снег густел.

На противоположной стороне улицы стоял мужчина в сером плаще.

Высокий.

Тимофей увидел его только на мгновение. Мужчина повернулся, и под плащом блеснуло серебро.

Волчья голова.

— Стой!

Тимофей бросился через улицу.

Мужчина побежал.

Он двигался быстро, не оглядываясь, нырнул в переулок, опрокинул корзину торговли. Тимофей перепрыгнул рассыпавшиеся яблоки, оттолкнул прохожего, едва не попал под сани.

В конце переулочка мелькнул серый плащ.

Тимофей ускорил шаг.

Незнакомец свернул за церковь.

Когда Тимофей добежал туда, переулок оказался пуст.

Три калитки. Низкая ограда. Два двора. Следы на снегу перемешаны.

У стены лежал небольшой кусок бересты.

Тимофей поднял его.

На внутренней стороне угла были нарисованы три арки.

Под ними написано:

«Невеста проведёт нас внутрь».

Глава третья. Царская невеста

Через несколько дней после венчания в Кремль начали привозить девушек.

Они прибывали из московских домов, из ближайших городов, из боярских и княжеских семей. Их сопровождали матери, тётки, няньки, слуги. В сундуках везли лучшие наряды, жемчужные уборы, вышитые рубахи, пояса, меха и тайные надежды целых родов.

Царь выбирал жену.

Но вместе с ним выбирала вся Москва.

Бояре гадали, какой род возвысится. Матери рассчитывали выгоды. Отцы вспоминали старые обиды и родственные связи. Братья уже видели себя возле царского престола. Одни девушки молились, чтобы государь заметил их, другие — чтобы не заметил. Потому что стать женой царя означало подняться выше всех женщин государства, но высота эта была такова, что падение с неё могло погубить не только одну жизнь, но и целый род.

Любовь редко входит во дворец одна.

За ней идут власть, родство, зависть, ожидание наследника, борьба за влияние. Чувство, которое в бедной избе принадлежит двоим, возле престола сразу становится государственным делом.

Иван знал это.

Он понимал, что жена должна быть здорова, благочестива, происходить из достойного рода и не иметь за спиной слишком могущественной семьи. Боярская дочь могла принести ему союз, но вместе с союзом — десятки родственников, каждый из которых однажды назовёт свои желания пользой государства.

И всё же Иван был шестнадцатилетним юношей.

В нём жила не только государственная осторожность. Жила тоска человека, который с детства находился среди людей и почти всегда был один.

Он хотел, чтобы хоть кто-нибудь входил в его покои не из страха, не ради должности, не ради милости.

Чтобы хоть один человек смотрел на него и видел не царя.

Первый день смотрин утомил его.

Девушки входили, кланялись, отвечали на вопросы. Одни были так напуганы, что едва говорили. Другие слишком старательно улыбались. Третьи повторяли заученные матерями слова о послушании и молитве.

Иван замечал красоту, но не чувствовал ничего.

Красивые лица казались ему масками, за которыми стояли роды, советы, расчёты и невидимые руки бояр.

Митрополит Макарий наблюдал за ним.

— Устал? — спросил он во время перерыва.

— Они все боятся.

— Перед ними царь.

— Я ещё ничего им не сделал.

— Власть пугает не только тем, что сделала. Тем, что может сделать.

— Как выбрать, если каждая говорит чужими словами?

— Смотри не на слова.

— На что?

— На то, как человек ведёт себя, когда думает, что на него не смотрят.

Иван запомнил.

Когда ввели следующую группу, он уже почти не слушал имена.

Одна девушка, стоявшая впереди, была необыкновенно красива: высокая, с белой кожей, тёмными бровями и тяжёлой косой. Она знала о своей красоте и несла её, как боярский сын носит дорогое оружие.

Рядом находилась другая.

Не столь ослепительная.

Невысокая, стройная, в скромном, хотя и богатом платье. Лицо спокойное, глаза тёмные. Она держалась прямо, но Иван заметил, что пальцы её дрожат.

Третья девушка, совсем молоденькая, вдруг побледнела.

В помещении было жарко от свечей и множества людей. Девушка качнулась. Старшие женщины ещё не успели подойти, а скромная соседка уже поддержала её за локоть, заслонила собой и тихо сказала:

— Дыши. На меня смотри.

Она не думала, что царь наблюдает.

Не старалась показать доброту.

Просто увидела чужую слабость и помогла.

Иван почувствовал интерес.

— Как её имя? — спросил он у стоявшего рядом дьяка.

Дьяк заглянул в список.

— Анастасия Романовна, государь. Дочь покойного Романа Юрьевича Захарьина.

Род Захарьиных был известен при дворе, но не принадлежал к тем княжеским семьям, которые могли попытаться подчинить молодого царя.

— Позови её.

Анастасия подошла.

Поклонилась.

Иван ожидал увидеть в её глазах тот же страх, что у остальных. Страх был. Но не рабский. Она боялась неизвестности, своей судьбы, тяжести происходящего — и всё же не теряла себя.

— Ты помогла девушке, — сказал Иван.

— Ей стало дурно, государь.

— Другие не помогли.

— Не заметили.

— А ты заметила.

Анастасия молчала.

— Чего ты боишься? — спросил он.

В помещении стало совсем тихо.

Подобный вопрос не входил в приготовленные наставле-

ния.

— Согрешить словом, государь.

— Передо мной?

— Перед Богом.

Ответ мог показаться дерзким, но произнесён был без вызова.

— Значит, меня не боишься?

— Боюсь.

— Чего именно?

Она подняла глаза.

— Что ты увидишь во мне то, чего нет. Или не увидишь того, что есть.

Иван замер.

Ему с детства показывали не то, что было, а то, что хотели показать. Его окружали люди, надеявшиеся, что он увидит в них верность, мудрость, незаменимость. И одновременно они не видели в нём ребёнка, одиночество, потребность в любви.

— А что в тебе есть? — спросил он.

— Этого я сама до конца не знаю.

На лице Ивана появилась улыбка.

— Остальные знают.

— Им подсказали.

Макарий опустил глаза, скрывая одобрение.

— Тебе не подсказали?

— Подсказали. Мать велела говорить мало, кланяться

низко и не смотреть на тебя долго.

— Ты нарушила последнее.

Анастасия опустила взгляд.

— Прости.

— Я не сказал, что это плохо.

В эту минуту между ними не возникла любовь в том завершенном виде, каким её потом изображают люди, стремящиеся превратить жизнь в красивое предание.

Любовь вообще редко начинается с уверенности.

Сначала появляется внимание. Один человек вдруг выделяется из множества. Его голос остаётся в памяти дольше других голосов. Его отсутствие начинает ощущаться прежде, чем возникло право желать его присутствия.

Иван отпустил Анастасию, но продолжал следить за ней.

Она вернулась к другим девушкам. Не шепталась, не улыбалась торжествующе, не искала глазами мать. Снова стала спокойной, почти незаметной.

Однако теперь Иван видел только её.



В это время Висковатый стоял над берестой, найденной Тимофеем возле дома Костровых.

— «Невеста проведёт нас внутрь», — прочёл он.

Тимофей ходил по палате.

— Сегодня в Кремле смотрины.

— Знаю.

— Значит, одна из девушек связана со сводом.

— Не обязательно.

— Что ещё может значить «невеста»?

— Женщину, которую собираются выдать замуж. Обручённую. Название корабля. Прозвище. Икону. Улицу, если кто-то так её называет.

— Или царскую невесту.

— Или царскую невесту.

Висковатый положил бересту рядом с другими листами.

— Кто знал, что ты будешь у дома Марьи?

— Ты. Прасковья Даниловна. Акулина.

— Сомов.

— Он мог ждать её и без знания о нас.

— Мог.

— Его вишнёвый кафтан с волчьей застёжкой украли.

— Так он говорит.

— Ты ему веришь?

— Я ещё не решил.

— Он знает Григория Кострова.

— Это неудивительно. Торговали в одних местах.

— Сказал, что Григорий ему помогал.

— Вот это интереснее.

Тимофей остановился.

— Прикажи схватить его.

— За что?

— За ложь.

— Ты уверен, что он солгал?

— Он сначала сказал, что не знал Фому.

— Это не означает, что знал.

— И кафтан...

— Украден.

— Удобно.

— Очень. Потому и нужно проверить, а не объявить удобство виной.

Тимофей раздражённо отвернулся.

— Ты защищаешь его.

— Нет. Я защищаю сыск от твоей ревности.

Тимофей резко повернулся.

— При чём здесь Марья?

— При том, что ты уже хочешь видеть в Сомове убийцу.

— Я видел человека возле её дома.

— И решил, что Сомов должен быть виноват, потому что он собирается жениться на женщине, которую ты любишь.

— Волчья застёжка была у него.

— У него был кафтан, который мог украсть любой человек. Если Сомов виновен, поспешное обвинение предупредит его. Если невиновен — ты разрушишь жизнь Марьи и поможешь настоящему убийце.

Тимофей сжал кулаки.

— Что делать?

— Идти к мастеру, изготовившему застёжку. Проверить подворье, где украли кафтан. Узнать, кто из слуг Сомова исчез осенью. Потом проследить за самим Сомовым.

— А царские смотрины?

— Там уже есть мои люди.

— Кто?

— Если скажу, тайными они быть перестанут.

В дверь постучали.

Вошёл подьячий и передал записку.

Висковатый прочитал.

— Государь выбрал девушку.

— Кого?

— Анастасию Романовну Захарьину.

Тимофей посмотрел на бересту.

— Значит, теперь у заговора есть имя.

— Нет. Теперь у нас есть женщина, которую необходимо защитить, не напугав её род и не показав врагу, что мы поняли угрозу.

— Царю скажешь?

— Придётся.

— А если он отменит свадьбу?

— Тогда неизвестный добьётся своего, даже если Анастасия ни в чём не виновата.

— А если не отменит и её используют?

Висковатый задумался.

— Любовь — удобные ворота, Тимофей. Человек открывает их сам и ещё благодарит того, кто входит.

— Государь её уже любит?

— Он видел её один раз.

— Иногда хватает одного раза.

Висковатый посмотрел на него.

— Тебе хватило?

— Мне хватило четырёх лет, чтобы понять, что первого раза было достаточно.



Вечером Иван снова попросил привести Анастасию.

На этот раз в небольшой палате находились лишь Макарий, две пожилые боярыни и несколько служителей.

Анастасия вошла в другом платье — тёмно-зелёном, с тонким жемчугом по вороту. Иван заметил, что она стала ещё спокойнее. Возможно, ей уже сообщили о его выборе.

— Знаешь, зачем позвали? — спросил он.

— Догадываюсь, государь.

— Тебе страшно?

— Да.

— Всё ещё?

— Больше.

Он удивился.

— Почему?

— Утром я могла вернуться домой. Теперь моя жизнь может перестать принадлежать только мне.

— Жизнь жены принадлежит мужу.

— А жизнь мужа?

Иван замолчал.

Боярыни переглянулись.

Макарий внимательно смотрел на девушку.

— Муж отвечает за жену, — сказал Иван.

— Значит, его жизнь принадлежит её защите.

— Ты споришь?

— Пытаюсь понять.

— Меня редко пытаются понять. Чаше угадывают, что я хочу услышать.

— А что ты хочешь услышать?

Вопрос был простым, почти детским.

Иван посмотрел на окружающих. Служители опустили глаза.

— Что я не ошибся.

— Этого я не могу обещать.

— Почему?

— Ты меня не знаешь. Я тебя тоже.

— Все говорят, что царь не ошибается.

— Тогда зачем ему советники и духовник?

Макарий кашлянул, скрывая улыбку.

Иван подошёл к окну.

Он мог приказать девушке молчать. Мог выбрать другую — покорнее, красивее, знатнее. Но впервые рядом с ним находился человек, чья искренность не унижала его, а приносила странное облегчение.

— Меня считают гневным, — сказал он.

— Я слышала.

— Боишься моего гнева?

— Да.

— А если станешь женой?

— Тогда буду бояться не только за себя.

Он повернулся.

— Скажешь мне, если я неправ?

Анастасия ответила не сразу.

— Если сумею понять.

— А если я разгневаюсь?

— Подожду, пока услышишь.

— А если не услышу?

— Буду молиться, чтобы услышал позднее.

Иван приблизился к ней.

Между ними оставалось несколько шагов.

— Почему ты согласна?

Она могла сказать о чести, о воле Божией, о долге перед родом. Всё это было бы правдой.

Но Анастасия сказала:

— Потому что сегодня утром я увидела не только царя.

Иван замер.

— Кого?

— Человека, которому страшно выбрать неправильно.

Никто прежде не говорил с ним так.

Бояре видели в нём власть. Слуги — господина. Враги — препятствие. Макарий — душу, за которую отвечает перед Богом. Но эта девушка увидела его страх и не воспользовалась им.

В ту минуту Иван полюбил её не всей зрелой силой чувства — для этого требовались годы совместной жизни, доверие, дети, болезни, примирения и общая молитва, — но той первой, почти беззащитной любовью, в которой человек вдруг надеется, что рядом с другим ему не придётся всё время быть сильным.

Он протянул руку.

Анастасия положила свою ладонь в его.

Пальцы её всё ещё дрожали.

— Я тоже боюсь, — тихо сказал Иван.

В глазах девушки появилось тепло.

— Значит, пока мы не одни.

За дверью послышался шум.

В палату вошёл Висковатый.

Он остановился, увидев их соединённые руки, и на мгновение пожалел, что должен сказать то, с чем пришёл.

Государственные тайны не знают подходящего часа.

Они входят во время молитвы, свадьбы, рождения ребёнка. Власть редко позволяет человеку пережить счастье отдельно от опасности.

— Что случилось? — спросил Иван.

Висковатый поклонился.

— Мне необходимо говорить с тобой наедине, государь.

Иван не отпустил руку Анастасии сразу.

Потом осторожно разжал пальцы.

— Подожди в соседней палате, — сказал он ей.

Она поклонилась и вышла.

Иван следил за дверью, пока она не закрылась.

— Говори.

Висковатый положил перед ним бересту.

Царь прочитал надпись.

Лицо его изменилось.

— «Невеста проведёт нас внутрь».

— Найдено возле дома женщины, связанной с одним из людей свода.

— О какой невесте речь?

— Не знаем.

— Ты думаешь об Анастасии?

— Должен думать обо всех возможностях.

Иван резко прошёлся по комнате.

— Кто мог знать, что я выберу её?

— До сегодняшнего дня — никто.

— Значит, береста написана раньше и речь не о ней.

— Или тот, кто её оставил, находился сегодня в Кремле.

— Среди девушек?

— Среди родственников, служанок, боярынь, стражи, дьяков.

— Сколько людей?

— Сотни.

В глазах Ивана появился тот холодный свет, который однажды заставит трепетать целые роды.

Макарий заметил.

— Не позволяй подозрению осквернить то, что ещё не успело начаться, — сказал он.

— А если рядом с ней враг?

— Ищи врага. Не делай врагом её.

— Я не делаю.

Но уже в эту минуту Иван вспоминал каждое слово Анастасии и спрашивал себя, не было ли оно подсказано кем-то другим.

Так действует подозрение.

Оно не обязательно уничтожает любовь сразу. Сначала только садится рядом, слушает признания, запоминает случайные паузы. Потом начинает задавать вопросы от имени осторожности. И если человек вовремя не изгоняет его, однажды оказывается, что в самых дорогих словах он слышит уже не любовь, а возможную ложь.

Иван сжал бересту.

— Свадьба состоится.

Висковатый поднял глаза.

— Государь...

— Если отменю выбор из-за угрозы, тот, кто написал это, станет управлять мною. Нет.

Он расправил бересту.

— Усиль стражу. Проверь всех, кто сопровождал девушек. Но так, чтобы Анастасия ничего не узнала.

— Это будет трудно.

— Потому я поручаю тебе.

— А если угроза исходит из её рода?

Иван посмотрел на него.

— Тогда принеси доказательства.

Макарий произнёс:

— Это справедливое повеление.

Царь ещё раз взглянул на дверь, за которой ждала Анастасия.

— И ни один человек не должен быть схвачен только потому, что находился рядом с ней.

— Понял.

— Особенно её родные.

— Понял, государь.

Иван вернул бересту.

Висковатый ушёл.

Макарий приблизился к царю.

— Ты хорошо решил.

— Думаешь?

— Да.

— А если ошибся?

— Тогда исправишь.

Иван усмехнулся.

— Сегодня все говорят мне об ошибках.

— Потому что сегодня ты получил право совершать ошибки, от которых зависит жизнь других.

Дверь открылась.

Анастасия вернулась.

Она сразу почувствовала перемену.

— Случилось что-то?

Иван смотрел на неё.

Сейчас ему следовало солгать. Сказать, что речь шла о казённых делах. Он уже хотел это сделать, но вспомнил её слова: жизнь мужа принадлежит защите жены.

— Мне угрожают, — сказал он.

Макарий поднял голову.

— Тебе? — спросила Анастасия.

— Возможно, через тебя.

Она побледнела, однако не отступила.

— Я не знаю ничего, государь.

— Верю.

Он произнёс это быстро.

Слишком быстро, будто убеждал не её, а себя.

Анастасия подошла ближе.

— Что мне делать?

— Ничего. Жить как жила.

— Если опасность рядом, я не смогу жить как жила.

— Тогда будь осторожна.

— А ты?

— Я царь.

— Это не ответ.

Иван неожиданно улыбнулся.

— Я тоже буду осторожен.

Анастасия взяла его руку.

На этот раз первой.

— Не позволяй страху решить за тебя, кому верить.

Он смотрел на её пальцы.

Тонкие, тёплые, без украшений.

— Ты говоришь так, словно давно меня знаешь.

— Нет. Но страх у людей похож.

— А любовь?

Она подняла глаза.

— Любовь узнаёт человека по тому, чем он не похож на других.

За окнами падал снег.

В Кремле зажигали вечерние огни. Слуги ходили по переходам, бояре обсуждали выбор государя, род Захарьиных ещё не понимал, какое возвышение и какие опасности принесёт ему этот день.

А далеко на Ильинке Марья Кострова сидела перед окном и держала в руке деревянную птицу.

Тимофей вырезал её много лет назад, когда они были почти детьми. Одно крыло оказалось короче другого, клюв слишком велик, но Марья сохранила игрушку во всех переездах.

В комнату вошла Акулина.

— Левонтий Борисович уехал.

Марья не ответила.

— Барышня...

— Что?

— Ты ведь Тимофея Игнатьевича всё ещё любишь?
Марья провела пальцем по неровному крылу птицы.
— Любовь не спрашивает, всё ещё она или уже нет.
— Тогда не выходи за Сомова.

— А отец?

— Отец переживёт.

— Дом?

— Дом можно потерять.

— А людей, которые зависят от нас?

Акулина молчала.

— Видишь, — сказала Марья. — Сердцу легко судить,
пока оно отвечает только за себя.

Она подошла к огню.

На мгновение показалось, что бросит деревянную птицу
в пламя.

Но Марья прижала её к груди.

Во дворе послышался стук.

Акулина выглянула.

— Кто-то у ворот.

— Кто?

— Не вижу.

Стук повторился.

На этот раз тише.

Будто человек не хотел разбудить дом.

Акулина спустилась и вскоре вернулась с небольшим
свёртком.

— Никого не было. Лежало у калитки.

Марья развернула ткань.

Внутри находился обломок серебряной цепочки и полоска бумаги.

Она прочитала:

«Григорий вернётся, если ты исполнишь обещанное».

Ниже был нарисован волк.

Марья почувствовала, как холодеют пальцы.

— Какое обещанное? — прошептала Акулина.

Марья не ответила.

Потому что вспомнила последние слова Фомы Карпова, сказанные на лестнице подворья:

— Когда царь выберет невесту, тебя позовут во дворец. Согласись. Иначе Григория не спасти.

Тогда она решила, что Фома говорит о возможности просить новую царицу за пленника.

Теперь поняла: речь шла совсем о другом.

И в тот же вечер, когда Иван впервые держал руку Анастасии Романовны и верил, что любовь сможет стать убежищем от одиночества, неизвестные люди уже готовились использовать любовь как дорогу к его престолу.

Первые врата открывал страх.

Вторые — корысть.

Но самые надёжные врата человек всегда открывал сам — тому, кого любил.

Глава четвёртая. Перед венцом

Ночь после царского выбора была длиннее зимы.

Для Ивана — потому, что он впервые почувствовал не только власть над судьбами других, но и зависимость собственной души от одного человеческого взгляда.

Для Анастасии — потому, что ещё вчера она была дочерью рода Захарьиных, а сегодня уже стояла на том невидимом рубеже, за которым женщина перестаёт принадлежать дому отца и становится частью государства.

Для Тимофея — потому, что любовь, которую он считал потерянной, внезапно оказалась живой, но стояла уже не в ожидании, а на краю чужого обещания и чужого брака.

Для Марьи — потому, что страшнее самого горя часто бывает та минута, когда человек понимает: теперь ему придётся выбирать не между добром и злом, а между двумя бедами, каждая из которых отнимает часть совести.

А Висковатый не спал потому, что подозрение, едва родившись, уже требовало себе пищи.

В ту ночь он перебрал все записки, берестяные клочки, обрывки старых сведений, имена казанских торговых людей, московских приказных, переводчиков, гонцов и посадских, чьи пути когда-либо пересекались с восточным рубежом. На столе лежали четыре имени из ладанки Фомы Карпова, подвеска с тремя арками, береста у дома Костровых, донесение

о краже вишнёвого кафтана Левонтия Сомова и старая, почти истлевшая запись исчезнувшего человека: «Первые врага — страх. Вторые — корысть. Третьи — кровь».

Он долго сидел в полутьме, не двигаясь.

Люди, далекие от сыскного дела, обычно думают, что истина рождается из необыкновенной прозорливости, из внезапной догадки, подобной молнии. Иногда так бывает. Но чаще истина приходит из терпения. Надо долго смотреть на одно и то же, пока мелкие подробности, прежде стоявшие рядом без связи, вдруг не начнут тянуться друг к другу, словно опилки к магниту. И всё же даже тогда умный сыщик знает: не следует любить свою догадку слишком рано. Иначе он начнёт не искать правду, а защищать собственную мысль.

Под утро Висковатый велел привести Тимофея.

Тот вошёл невыспавшийся, хмурый и мрачнее обычного.

— Ты не спал? — спросил Висковатый.

— Спал.

— Сколько?

— Пока не позвали.

— Значит, мало.

— На службе выплусь.

— Это ты ещё не служишь по-настоящему.

Тимофей встал у стола и увидел разложенные бумаги.

— Есть новый след?

— Есть старая мысль, которая начала говорить громче.

— Какая?

— Человек, писавший Марье, знал, что она важна не сама по себе, а как путь. Следовательно, её уже кто-то наблюдал и изучал. Не один день.

— Значит, за Костровыми следили давно.

— Да.

— Зачем?

— Потому что Григорий Костров был связан с Казанью.

— И с Сомовым.

— И с кем-то ещё.

Висковатый поднял пергаментный лист.

— Я послал человека к мастеру-немцу, который делал волчьи застёжки для московских торговых людей. Он подтвердил: осенью такую застёжку заказывал Сомов. Но не одну.

— Две?

— Три.

— Кому остальные?

— Одну самому себе, вторую — старшему приказчику, третью — в подарок.

— Кому?

— Не знает. Через слугу передавали.

Тимофей нахмурился.

— А если слуга и есть наш человек?

— Возможно.

— Где он?

— Пропал три недели назад.

— Почему ты говоришь это так спокойно?

— Потому что крик не возвращает беглецов.

— Имя?

— Ондрейка Сухой.

— Откуда родом?

— Из Костромы. Служил у Сомова четыре года.

— Родня?

— В Москве нет.

— Значит, надо искать, кто его укрыв.

Висковатый покачал головой.

— Не только. Надо понять, отчего он исчез именно сейчас. Если это наш человек, то кто-то начал убирать слабые звенья.

— А Марья?

— За домом уже следят мои люди.

— Она знает?

— Нет.

— И не должна.

— Отчего?

— Если человек знает, что его берегут, он невольно меняется. Начинает чаще смотреть в окна, держать двери закрытыми, спрашивать слуг, кто ходит за воротами. А наблюдатель это заметит.

— Ты хочешь сказать, что страх выдаёт?

— Страх всегда выдаёт, Тимофей. Только одних — палачу, других — врагу, третьих — собственной ошибке.

Он помолчал и добавил:

— Сегодня мы пойдём на Ильинку.

— К Марье?

— К её отцу.

— Семёну Кострову?

— Да.

— Ты думаешь, он знает о Григории?

— Я думаю, он знает больше, чем говорит.

Тимофей хотел возразить, но передумал. Он уже успел понять, что спорить с Висковатым полезно лишь до тех пор, пока спор помогает делу. Когда же спор начинает помогать только собственной горячности, подьячий с удивительной точностью переставал слушать.



Дом Семёна Кострова встретил их не купеческой шумностью, а напряжённой тишиной.

Большие дома редко бывают действительно тихими. В них всегда кто-то ходит, перетаскивает сундуки, спорит в сенях, зовёт стряпуху, ругает мальчишку, разжигает печь, заносит воду, считает деньги, отпирает кладовую. Но иногда тишина становится не отсутствием звука, а видом ожидания. Так бывает в доме, где люди уже знают о беде, но ещё не знают, какой она окажется.

Семён Костров принял их в горнице.

Это был крепкий мужчина лет пятидесяти с тяжёлой седой бородой и глазами такого упрямого достоинства, ка-

кое чаще встречается у людей, привыкших подниматься собственным трудом, а потому считающих унижением всякую зависимость. Он был одет хорошо, но без прежнего купеческого блеска: дорогая ткань ещё присутствовала, а вот уверенность богатства уже отступила.

На столе лежали счёты и раскрытая книга долгов.

Семён Костров не предложил гостям ни мёда, ни сбитня.

— Знаю, зачем пришли, — сказал он. — Про Фому.

— И про вашего сына, — ответил Висковатый.

Костров перевёл взгляд на Тимофея.

— А этот что здесь делает?

— Служит при мне.

— С каких пор?

— С царского повеления.

— Молод.

— Потому глаза ещё не испорчены.

Семён хмыкнул.

— Глаза молодого человека чаще портит женщина, чем служба.

Тимофей покраснел.

Висковатый сделал вид, что не заметил.

— Когда вы в последний раз получали весть от Григория?

— Четыре года назад.

— Неправда.

— Ты меня во лжи обвинять пришёл?

— Я пришёл искать человека, которому грозит смерть.

Ложь здесь уже есть. Вопрос только — чья.

Семён сжал пальцы на счётах.

— Даже если вести были, какое до них дело государеву подьячему?

— Если ваш сын в Казани помогал московским людям, это государево дело. Если служил хану — тоже. Если его именем кто-то шантажирует вашу дочь — тем более.

При последних словах старый купец вздрогнул.

Совсем немного.

Но Висковатому этого хватило.

— Значит, знаете.

— Что знаю?

— Что к Марье приходили не только вчерашние вести.

Семён встал и прошёлся по горнице.

— Человек, служащий власти, всегда говорит так, будто ему уже всё известно.

— Нет. Я говорю так, когда вижу, что молчание вредит тому, кого пытаются спасти.

Костров остановился возле образов.

— Григория я растил не для измены, — сказал он глухо. — Он был лучший из моих детей. Умнее Марьи, смелее младших, на слово крепок, в торговом деле хваток. Я думал, он дом поднимет выше меня.

— И что случилось? — спросил Висковатый.

— Казань случилась.

Это прозвучало так, будто речь шла не о городе, а о бо-

лезни.

— Он поехал с людьми Сомова и с моим товаром. Должен был вернуться к Покрову. Не вернулся. Потом пошли слухи. Один говорил — убит, другой — в плену, третий — служит кому-то при ханском дворе. Я никому не верил. Пока через год не пришёл человек из Нижнего.

— Фома?

— Нет. Другой. Старик с перебитым ухом. Он сказал, что видел Григория живым. Тот будто бы держится при одном из казанских мурз, переводит с русской речи и иногда тайно помогает пленным. Я хотел послать денег, людей, выкуп — что угодно. Старик отсоветовал. Сказал: если поднять шум, Григория убьют. Надо ждать знака.

— И вы ждали четыре года? — не выдержал Тимофей.

Семён резко повернулся к нему.

— А ты, сын боярский, когда-нибудь выбирал между надеждой и могилой? Когда тебе говорят: пошевелишься — погубишь сына, замолчишь — может, ещё выживет? Легко осуждать чужое ожидание тому, кто никогда не клал его вместо подушки.

Тимофей умолк.

Висковатый спросил:

— Потом был ещё кто-нибудь?

— Да.

— Кто?

— Осенью пришло письмо.

— Покажите.

Семён тяжело посмотрел на него.

— Сжѐг.

— Зачем?

— Там было написано, чтобы Марью не выдавали замуж до особого слова.

Висковатый прищурился.

— Почему?

— Не сказано.

— Вы не поверили?

— Я... — Семён замолчал. — Я не знал, чему верить. Письмо без подписи. Но слова такие, какие мог написать Григорий. Он любил одно выражение... про дорогу и долг. В письме оно было.

— Какое?

— «Долг короче дороги, но приходит быстрее».

Висковатый опустил глаза. Запоминал.

— И всё же вы согласились на помолвку Марьи с Сомовым.

— Потому что долги не ждут, как ждут сыновей, — горько сказал Семён. — Дом рушился, люди разбегались, товар уходил с молотка. Я не мог всех держать одной надеждой. А Сомов... он поступил честно.

— Вы ему сказали о письме?

— Нет.

— Почему?

— Не хотел ставить дочь под подозрение. И потом... — Костров тяжело выдохнул. — Не хотел, чтобы чужой человек знал, как легко держать меня за горло через детей.

Висковатый медленно кивнул.

— Правильно не хотели. Но теперь поздно скрывать.

Он подошёл к столу.

— Кто доставил письмо?

— Мальчишка. Уличный. Принёс и исчез.

— А вчерашний свёрток?

— Марья не показывала мне. Но я видел, что она плакала после вечерни.

Тимофей резко поднял голову.

— Она плакала?

Семён посмотрел на него пристально.

— Любишь?

Тимофей не отвёл глаз.

— Да.

— Поздно.

— Знаю.

— Тогда люби так, чтобы хотя бы теперь не навредить.

Эти слова старик произнёс без злобы.

И именно это ранило сильнее.

Потому что в них не было ни отцовского презрения, ни купеческого расчёта, а была лишь усталая правда человека, который понял: несчастье дочери уже не остановить, можно только сделать так, чтобы оно не стало окончательной гибе-

люю дома.



Тем же днём в Кремле готовились к царской свадьбе.

Палаты оживали. Шили, выносили, вносили, расставляли посуду, перебирали драгоценные ткани, серебро, свечи, венчальные одежды. У церковных людей забот было не меньше, чем у дворцовых: кому служить, где стоять, кого проводить, какие книги приготовить, в каком порядке выносить священные вещи.

Во всяком большом торжестве есть сторона видимая и невидимая.

Видимая принадлежит царям, боярам, духовенству, гостям, певчим, нарядам и золоту.

Невидимая — тем, кто подметает полы, растапливает печи, несёт квас, чинит порванный подол, приносит тёплую воду, проверяет замки и задвижки, не спит по ночам, чтобы утром торжество показалось совершенным. Народ часто живёт, не замечая своих собственных рук, и только в редкие минуты бедствия или славы видит, как много великого совершается незнаменитыми людьми.

Анастасия сидела у окна в покоях, отведённых ей до венчания.

Рядом находились мать, несколько родственниц и старые боярыни. Ей говорили о чине, о послушании, о том, как вести себя перед царём, как кланяться, как принимать благословение, как не показывать усталости.

Она слушала.

Но думала не о словах.

За последний день Иван Грозный перестал быть для неё далёкой вершиной власти. Он стал человеком, чья душа была куда тревожнее, чем его положение, и куда беззащитнее, чем его грозный взгляд.

Она уже понимала, что ей достаётся не только муж, но и государь, не только любовь, но и страх, не только высокий дом, но и одиночество, в котором этот юный человек жил с детства.

Любовь женщины к великому человеку редко бывает спокойной. Она требует не только нежности, но и мужества. Потому что рядом с тем, кто облечён властью, невозможно жить одной лишь слабой преданностью. Надо уметь терпеть его гнев, различать, когда он устал, когда ранен словом, когда ожесточён, когда несправедлив, и в нужную минуту не отступить от правды — но сказать её так, чтобы правда не превратилась в унижение.

Вошёл Иван.

Ему позволено было видеть невесту лишь кратко и не так, как увидит после венчания, но он нашёл предлог — спросить о некоторых свадебных вещах и, по сути, обмануть церемонию ради человеческой тоски.

Старшие женщины отступили, оставив им почтительное расстояние.

— Тебе говорят слишком много? — спросил он.

Она улыбнулась.

— Да.

— Мне тоже.

— И что тебе советуют?

— Быть величавым.

— А ты не хочешь?

— Хочу быть не смешным.

Она подняла глаза.

— Ты не будешь смешным.

— Ты уверена?

— Нет. Но даже если будешь, лучше это, чем быть страшным без нужды.

Он негромко рассмеялся.

— Владыка Макарий сказал бы, что ты опасная советчица.

— Тогда хорошо, что я не советчица. Я только невеста.

— Пока.

Иван подошёл к окну. На улице таял снег. Над Кремлём стоял холодный ясный день.

— А если я не сумею быть хорошим мужем? — спросил он неожиданно.

Анастасия не удивилась.

Этот вопрос и должен был прийти первым к человеку, которого все учили быть царём и почти никто — мужем.

— Будешь учиться.

— Люди простых званий учатся на своей жизни. Государь, если ошибётся, учится на чужой.

— Тогда надо, чтобы рядом с ним был кто-то, кто напомним о чужой боли раньше, чем станет поздно.

Иван посмотрел на неё долго.

— Ты думаешь, сможешь?

— Не знаю. Но хочу.

Он взял её руку.

— Я не хочу, чтобы ты меня боялась.

— Буду.

— Тогда как же жить?

— Можно бояться и любить.

— Это плохо.

— Иногда да. Но иногда страх рождается не от злобы, а от того, что человек слишком дорог.

Он сжал её пальцы.

Впервые в жизни ему показалось, что на свете существует нечто, что не хочет от него ни места, ни золота, ни власти, ни разрешения старого спора, а только самого его — с его юностью, подозрительностью, жадной жаждой справедливости и ещё неукрощённым гневом.

И если бы история человека зависела только от любви, многие великие государи оказались бы добрее, чем были. Но власть почти никогда не позволяет любви править без соперников.

В дверь вошёл Висковатый.

Иван отпустил руку Анастасии медленнее, чем следовало.

— Что? — спросил он.

— Вести из дома Костровых, государь. И ещё — про Сомова.

Лицо Ивана сразу стало иным.

Анастасия заметила это и поняла: даже самая тихая радость возле престола всегда ходит по краю заботы.

— Говори, — велел царь.

— Появилось старое письмо, уже уничтоженное. В нём Марье Костровой запрещали выходить замуж до особого знака. Нынешние послания, вероятно, продолжают ту же линию.

— Значит, девушку готовили давно.

— Да.

— Для чего?

— Пока не знаем. Но полагаю, её должны ввести туда, куда посторонний вход невозможен.

— Во дворец? — тихо спросила Анастасия.

Иван и Висковатый обернулись. На миг они забыли о ней, как мужчины часто забывают о женщине в разговоре о деле, если дело связано с опасностью. Но именно такие мгновения и открывают подлинную меру человека.

Анастасия стояла прямо, не прячась от чужого взгляда.

— Я не хотела слушать, — сказала она. — Но раз уже слышу, скажите прямо.

Висковатый ответил почтительно:

— Есть опасение, государыня-невеста, что через дом Костровых кто-то хочет получить путь к государеву двору.

— Через меня? — спросила она.

— Возможно, через людей, которые будут вам служить.

Или через просьбу, которую вы сочтёте справедливой.

Иван нахмурился.

— Я велел не тревожить её.

— Я не тревожусь, — сказала Анастасия. — Я думаю.

— О чём?

— Если Марью шантажируют братом, она может согласиться на многое.

— Мы защитим её, — сказал Тимофей... но осёкся, потому что вошёл следом за Висковатым и сам не заметил, как заговорил.

Анастасия посмотрела на него.

— Вы её знаете?

— Да, государыня.

— И любите, — тихо добавила она, словно не спрашивала, а видела.

Тимофей опустил голову.

— Да.

Иван перевёл взгляд с Тимофея на Висковатого.

— Это тот самый?

— Да, государь.

Царь усмехнулся странной, почти печальной усмешкой.

— Значит, и у нас любовь идёт рядом с заговором.

— Любовь вообще редко спрашивает, удобно ли время, — произнесла Анастасия.

Эти слова будто принесли в комнату иной свет. Иван посмотрел на неё с благодарностью, которая уже была похожа на глубокую привязанность.

— Что ты предлагаешь? — спросил он.

— Позвать Марью ко мне.

Тимофей резко поднял голову.

Висковатый насторожился.

— Это опасно, государыня.

— Опаснее оставить её наедине с теми, кто держит её братом.

— Но если она уже в их власти...

— Тем более надо видеть её рядом, а не только угадывать её страх по чужим рассказам.

Иван медлил.

Власть привыкла охранять тех, кого любит, запирая их от мира. Но настоящая душевная близость иногда требует не запереть, а довериться с риском.

— Хорошо, — сказал он. — Но осторожно.

Висковатый поклонился.

— Я устрою это так, будто речь идёт о женских делах и подборе новых рукодельниц к великокняжескому двору.

— Не слишком явно? — спросил Иван.

— Наоборот. Лучшее прикрытие — то, которое никого не удивляет.

Анастасия посмотрела на Тимофея.

— Если любишь, не мешай ей бояться. Помоги выстоять.

Он ответил негромко:

— Постараюсь.

И подумал, что эта молодая женщина, ещё не ставшая царицей, уже умеет говорить о любви с большей мудростью, чем многие мужчины о долге.



Через три дня состоялось царское венчание.

Москва увидела редкую красоту.

Звонили колокола, шли духовные лица, толпились люди, глядели на наряды, на коней, на золото, на древний порядок великой церемонии. Народ всегда любит видеть торжество власти, пока торжество обещает ему надежду. В такие дни бедный верит, что новый государь услышит его нужду; торговый человек — что дороги станут безопаснее; воин — что его подвиг не останется забытым; мать — что сын вернётся с похода; священник — что при царе вера укрепится. Государственная пышность потому и нужна миру, что одни лишь законы редко воодушевляют сердца. Человеку нужно не только подчиняться порядку, но и чувствовать, что порядок велик.

Иван стоял в праздничном облачении с лицом серьёзным, почти суровым.

Анастасия была прекрасна той тихой красотой, которая не ищет всеобщего восхищения и потому рождает его вернее всякой гордой осанки. В ней не было царского величия по привычке — лишь благородство, чистота и нечто ещё, что толпа объяснить не могла, но чувствовала: рядом с этой жен-

щиной молодой государь словно меньше походил на одинокого волка.

Тимофей видел всё издали.

Он не был допущен близко, но стоял там, где можно было различать лица. И в какой-то миг ему подумалось, что чужая любовь не всегда причиняет боль. Иногда она напоминает человеку о том, каким он сам мог бы стать, если бы сумел оказаться вовремя возле той женщины, которая ждала его.

После венчания народ долго не расходился.

Москва шумела, пировала, перешёптывалась, пересказывала подробности. А ночью, когда праздничный звон уже отзвучал и по улицам пошли только сторожа да редкие запоздалые люди, у задних ворот дома Костровых нашли мальчика.

Он был жив, но избит.

При нём не оказалось ни имени, ни денег, только обрывок материи от вишнёвого кафтана и маленький, почти детский рисунок: три арки и под ними одно слово —

«Свадьба».

Глава пятая. Пожар и пепел

Весна 1547 года прошла в тревожном ожидании.

С одной стороны, Москва жила обычной жизнью. Торги наполнялись людьми, ремесленники работали, церковные службы шли своим порядком, бояре спорили о чинах и родстве, приказные вели книги, стража ругалась на пьяных, жёны плакали по мужьям, ушедшим в отъезды, дети бегали по талому снегу, а по вечерам из посадских изб тянулся дым и запах горячего хлеба.

С другой стороны, над городом уже стояла скрытая нервность большой перемены.

Молодой царь начал править сам.

Это означало не только надежду, но и опасность для множества людей. Старые боярские силы присматривались к нему, думали, кого приблизит, кому поверит, чью вину вспомнит, чью верность оценит, с чьей руки возьмёт первый совет. Придворный мир похож на широкую реку лишь изда- лека; вблизи он состоит из множества подводных течений, которые сталкиваются, кружат и топят тех, кто по неопытности считает их гладкой водой.

Иван всё чаще искал уединения не в охоте и не в пире, а в разговорах с Анастасией.

Она не вмешивалась в государственные дела прямо, не давала советов напоказ, не пыталась играть роль мудрой на-

ставницы. Но именно в этом и заключалась её сила. Она говорила с ним как с человеком, а не как с венценосной властью. И постепенно молодой царь начал приучаться к той редкой роскоши, которую судьба даёт не каждому великому правителю, — к доверию.

Иногда вечером, когда в палатах стихал шум, они сидели у узкого окна.

Иван рассказывал ей о детстве. О Шуйских. О страхе, который испытывал, когда слуги шептались за дверями. О тайной, жадной решимости однажды всем доказать, что он не игрушка в чужих руках.

Анастасия слушала.

Не спешила осуждать.

Лишь однажды сказала:

— Того, кто долго жил среди измены, труднее всего убедить в верности. Но если ты не поверишь никому, измена победит без боя.

Эти слова вошли в Ивана глубже, чем многие книжные наставления.



Тем временем Марья стала бывать при дворе.

Не в качестве знатной гостьи и не как близкая к царской семье особа, а в малозаметном кругу женщин, отобранных для рукоделия, шитья, разбору тканей и хозяйственных нужд в царских покоях. Это было устроено так ловко, что для постороннего глаза казалось естественным: молодая ца-

рица набирает к себе надёжных и искусных женщин.

Но для Марьи каждый вход в Кремль был мучением.

Она понимала: её ведут туда не только по милости, но и как возможную приманку. А главное — она не знала, увидят ли это те, кто держит её братом, и не посчитают ли, что она уже начала исполнять навязанную роль.

Когда она впервые предстала перед Анастасией в небольшой светлой горнице, где не было лишней помпы, а только несколько шкатулок с тканями, пяльцы, икона и стол с рукодельем, её охватило странное чувство.

Она ожидала увидеть царицу.

Увидела женщину.

Молодую, тихую, красивую не столько украшениями, сколько взглядом.

Анастасия пригласила её сесть и долго говорила не о дворе, не о государе и даже не о брате, а о простых вещах: о вышивке, о детстве, о том, как тяжело женщине жить в ожидании чужих решений. Только потом сказала:

— Вам страшно.

Марья не стала отрицать.

— Да, государыня.

— Мне тоже было страшно.

— Вам? — удивилась Марья.

— Перед свадьбой. Перед новой жизнью. Перед тем, что рядом будет человек, которого я ещё не до конца знаю, а от его сердца зависит судьба многих.

Марья подняла глаза.

— И вы не жалеете?

— О чём?

— Что вошли в такую жизнь.

Анастасия чуть улыбнулась.

— Иногда женщине не даётся выбирать дорогу. Но почти всегда даётся выбрать, с каким сердцем по ней идти.

Марья молчала.

Потом тихо произнесла:

— Моим сердцем теперь командуют через брата.

— Нет, — сказала Анастасия. — Командуют вашим страхом.

— Разве это не одно и то же?

— Нет. Брат — это любовь. Страх — это то, чем хотят из любви сделать узду.

Марья впервые заплакала при ней.

Не громко, не теряя лица, а как плачут люди, долго державшиеся, — когда слёзы кажутся не слабостью, а усталостью.

Анастасия не утешала словами.

Просто дала ей время.

Потом спросила:

— Что от вас хотят?

— Я ещё не знаю.

— Уже знаете больше, чем говорите.

Марья сжала руки.

— Мне велели быть при дворе и ждать.

— Чего?

— Когда попросит тот, кто придёт с тремя арками.

— Мужчина?

— Не знаю.

— Когда это было сказано?

— Ещё до свадьбы. Через Фому.

Анастасия долго смотрела на неё.

— Вы расскажете всё Висковатому.

— А если они убьют Григория?

— А если, подчинившись, вы сами приведёте к гибели других?

Марья вздрогнула.

В этом и заключалась жестокость настоящего шантажа: он не просто заставляет человека страдать, а предлагает ему самому стать орудием чужого зла.



К середине июня следы начали сходиться.

Ондрейка Сухой, пропавший слуга Сомова, оказался замечен на Арбате в обществе человека, служившего прежде у одного из Глинских. Вишнёвый кафтан с волчьей застёжкой видели на подворье у Яузских ворот. Мальчишка, найденный у дома Костровых, пришёл в себя и сообщил только одно: свёрток передал ему «чёрный поп» — человек в тёмной рясе, но с руками не монаха, а воина.

Висковатый всё больше склонялся к мысли, что заговор

шире, чем просто казанская связь.

Тайный свод, имена людей, письма, попытка провести Мारью ко двору, люди у Сомова, тени вокруг Глинских — всё это начинало указывать на одну страшную возможность: кто-то хотел не просто передавать хану сведения, а расшатать саму московскую власть в минуту её становления.

И в это самое время над городом пришёл огонь.



Двадцать первого июня Москва горела.

Сначала загорелось за Неглинной. Потом ветер, жаркий и бешеный, погнал пламя на кровли, дворы, стены, сараи, церковные главы, склады, мостки, торговые ряды. Деревянный город, слишком тесно набранный, слишком сухой после тёплых дней, вспыхнул так, словно огонь давно ждал этой минуты и теперь торопился наверстать своё.

Пожар в большом городе не похож на обычное бедствие.

Он не идёт одной дорогой. Он прыгает. Шумит. Обманывает. Кажется далёким — и вдруг уже рядом. Человек ещё думает, что спасёт сундук, лошадь, бочку муки, а через мгновение не знает, как вынести ребёнка. В огне прежде всего гибнет человеческая уверенность в порядке. Всё, что считалось прочным — дом, двор, кладовая, забор, привычный угол, — в несколько часов превращается в память и пепел.

Тимофей оказался на улице, когда загорелся Китай-город.

Он помогал тащить бочки с водой, ломать заборы, выводить людей. Повсюду кричали. Плакали женщины. Бежали

монахи, неся иконы. Лошади, обжёгшись, рвались и сбивали людей. Где-то уже грабили — у всякой великой беды быстро находятся не только жертвы и спасители, но и те, кто спешит нажиться на чужом несчастье.

Над городом стоял такой гул, будто сама земля стонала.

Тимофей искал дом Костровых.

Нашёл его уже в дыму.

Семён Костров с людьми выносил из ворот сундуки. Марья держала младшую племянницу, укутанную в одеяло. Акулина тащила мешок с книгами и скатертями. В переулке горела соседняя кровля.

— Марья! — крикнул Тимофей.

Она обернулась.

В огненном свете лицо её казалось совсем белым.

— Отец не хочет уходить! — крикнула она в ответ.

Тимофей подбежал.

Семён, задыхаясь, пытался открыть подклет.

— Там книги! — прохрипел он. — И товарные записи!

— Оставь! — крикнул Тимофей. — Крыша сейчас пойдёт!

— Там всё! — взревел купец. — Жизнь моя там!

И это была правда. Для торгового человека книги долгов, записи, меры, расписки, договоры, счета — не просто бумага. В них заключена память труда, честь сделки, возможность начать снова. Когда гибнет дом, можно ещё построить новый. Когда гибнут книги, человек теряет доказательство

самого себя перед миром.

Тимофей рванул дверь вместе с ним.

Изнутри повалил дым.

Они вынесли два сундука, потом третий. В этот миг с крыши сорвалась горящая балка. Тимофей успел оттолкнуть Семёна, но сам упал. Что-то тяжёлое ударило его по плечу. Мир на мгновение сделался белым и глухим.

Когда он очнулся, Марья стояла над ним на коленях.

— Тимофей! Слышишь?

Он узнал её голос раньше, чем боль.

— Слышу.

— Вставай. Ради Бога, вставай!

Любовь иногда открывается человеку не в поцелуе и не в тихом признании, а в том, как другой зовёт его из беды. В этом крике бывает больше правды, чем во всех клятвах.

Тимофей поднялся.

Плечо горело болью, но двигалось.

— Все вышли?

— Отец да. Акулина да. Но...

— Что?

— Мать Ефросинья! Она пошла к образам и не вернулась!

Семён побледнел.

— Господи...

Не раздумывая, Тимофей бросился в дом.

Марья схватила его за рукав.

— Нет!

— Я быстро.

— Погибнешь!

— Тогда будет за что.

И тут же понял, что сказал лишнее.

Но времени для стыда уже не было.

Он нырнул в дым.

Внутри почти ничего не было видно. Горница трещала.

У красного угла действительно стояла пожилая женщина — мать Семёна, оцепеневшая, прижимавшая к груди небольшую икону.

— Матушка! — крикнул Тимофей.

Она не слышала.

Он подхватил её на руки. Старуха была лёгкой, как ребёнок. Когда он добрался до порога, за его спиной с грохотом обрушился потолочный брус.

На улице Марья вскрикнула, увидев их.

Старуху приняли. Тимофей пошатнулся.

В этот миг послышался новый крик:

— Кремль! Кремль горит!

Толпа дрогнула.

Паника в русском народе, долго сдерживаемая, бывает страшна. Она не только разбрасывает людей, но и мгновенно ищет виновного. Таков закон толпы: бедствие для неё невыносимо до тех пор, пока оно безымянно. Она скорее поверит в злой умысел, чем в беспощадную случайность огня и ветра.

И очень скоро по городу поползли слова:

— Глинские! — Это Глинские колдовством навели! —
Княгиня Анна! — Царёв род материн!

Эти слухи шли быстрее пожара.

Одни повторяли их со страхом, другие — с жадной радостью, потому что народная ненависть к сильным редко ищет доказательств, ей достаточно образа виновного. В минуту общей беды толпа хочет не правды, а расплаты.

Тимофей услышал, как Семён Костров прошептал:

— Теперь беда будет больше огня...

Он был прав.

Потому что огонь пожирает дома.

А мятеж — порядок.



В Кремле Иван стоял у окна и смотрел на Москву.

Город пылал.

Отсюда было видно не всё, но достаточно: чёрный дым, красные вспышки, бегущие люди, беспомощную ярость пожара. Рядом стояла Анастасия. Она не плакала. Только крестилась и тихо молилась.

— Я царь, — произнёс Иван с таким отчаянием, какого сам в себе не ожидал. — А город горит, будто у него нет государя.

— Не всё подвластно царю, — сказала Анастасия.

— Народ этого не поймёт.

— Народ поймёт, если увидит, что ты с ним.

Он резко обернулся.

— А если увидит, что я бессилён?

— Бессилие — не в том, что беда пришла. Бессилие — если ты спрячешься от неё за стенами.

Вошёл Висковатый.

Лицо его было в саже.

— В городе смута, государь. Винят Глинских.

Иван побледнел.

— Кто начал?

— Пока не знаю. Но слова разнеслись по торгам и улицам слишком быстро, словно ждали часа.

— Значит, пожар им нужен, — сказал Иван.

— Кому? — спросила Анастасия.

Висковатый посмотрел на царя.

— Тем же, кто ведёт игру вокруг Казани, свода и Костровых. Если Москва взбунтуется, молодой царь ослабеет, а с ослабленным царством легче вести дела и на Волге, и в Литве, и среди бояр.

Иван сжал кулаки.

— Найти.

— Ищу.

— Не ищи медленно.

— Если начну быстро хватать, смута только вырастет.

Царь шагнул к нему.

— А если медленность погубит город?

— Тогда погубит не медленность, а паника.

Слова были опасны.

Но Иван уже успел привыкнуть, что Висковатый не склоняется перед его гневом так низко, как прочие.

Анастасия положила руку на рукав мужа.

— Он прав.

Иван закрыл глаза на миг.

Потом произнёс:

— Что с Костровыми?

— Дом горел. Но люди спасены. Тимофей ранен неопасно.

— А Марья?

Висковатый заметил, как Анастасия взглянула на него.

— Жива.

— Пусть будут под нашей защитой, — сказала царица.

— Уже.

Снаружи гремели колокола.

Но теперь это был не праздничный звон.

Это был звон беды.

И в пламени московского лета заговор, начавшийся с ночного убийства у Неглинной, вступал в новую пору. До сих пор его творцы скрывались в письмах, в краденном кафтане, в шёпоте, в страхе одной девушки. Теперь они коснулись целого города.

Потому что нет для врага лучшего часа, чем тот, когда государство ранено не мечом, а собственной бедой.



Уже к вечеру, когда Костровых временно разместили в доме дальних родственников, Марья впервые осталась с Тимо-

феем наедине.

Ненадолго.

За перегородкой кашляла старая Ефросинья, в сенях спорили мужчины, в печи трещали сырые дрова. Но даже такой короткой тишины им обоим хватило, чтобы понять: после сегодняшнего огня между ними больше невозможно жить по-прежнему.

— Ты мог погибнуть, — сказала Марья.

— Мог.

— Почему пошёл?

— За твоей бабкой.

— Я не о том.

Он посмотрел на неё.

В лице Марьи ещё оставалась зола, волосы выбились из-под платка, руки дрожали от усталости. Никогда она не казалась ему ближе.

— Я люблю тебя, — сказал он просто. — Не так, как любил когда-то мальчишкой. Тогда я думал, что любовь ждёт, пока мужчина разберётся со службой, честью, бедностью и собственным страхом. Теперь знаю: если её оставлять одну, она не умирает, но страдает. Я виноват перед тобой.

Марья смотрела на него, не мигая.

— Поздно.

— Да.

— И всё же говоришь.

— Потому что сегодня понял: поздно не сказать страш-

нее, чем поздно сказать.

Она стиснула пальцы.

— А если я уже обещана другому?

— Я не стану бесчестить тебя просьбой нарушить слово без нужды. Но если ты меня не разлюбила, скажи.

Долго молчала.

Потом прошептала:

— В том и беда, что не разлюбила.

Он шагнул к ней.

Не прикоснулся.

Только остановился совсем близко.

— Тогда дай мне право бороться.

— С кем? С Сомовым? С теми, кто держит Григория? С самим государевым сыском? С бедностью? С временем?

— Со всем, что между нами.

Марья улыбнулась сквозь слёзы.

— Вот теперь ты говоришь как мужчина, которого я ждала.

— А раньше?

— Раньше ты говорил как человек, который просит судьбу подождать.

Он взял её руки.

На этот раз она не отняла.

За стеной плакала старуха, в городе ещё догорали дома, в Кремле молодой царь готовился встретить смуту, а где-то в темноте люди, начавшие эту игру, уже понимали, что пожар

не только разрушил Москву, но и ускорил всех, кого они хотели удержать страхом.

Потому что бедствие часто делает человека яснее самому себе.



Глава шестая. Колокол мятежа

Через пять дней после великого пожара Москва перестала пахнуть дымом и начала пахнуть гневом.

Пепел ещё лежал на улицах. В развалинах домов тлели балки, на месте торговых рядов чернели железные замки, пережившие сундуки и хозяев, а вдоль уцелевших стен сидели люди, которые за одну ночь сделались нищими. Одни молчали. Другие спорили, кому достанется обгоревшая доска, ведро, место под навесом. Третьи ходили от церкви к церкви и спрашивали, не видал ли кто ребёнка, старика, жену, брата. Были и такие, кто уже принялся строить: ставил жерди, натягивал полог, сушил у огня уцелевшую одежду. Народная жизнь обладает страшной способностью продолжаться даже там, где человеку кажется, что продолжать её невозможно.

Но бедствие, если оно велико, всегда требует объяснения.

Огонь, начавшийся от сухости, ветра, тесноты и одной случайной искры, был слишком простым ответом для людей, потерявших всё. Простая причина не утешает. Она не возвращает дом и не даёт права ненавидеть. Гораздо легче поверить, что кто-то вынул человеческие сердца, истолок их в воде, окропил этой водой московские улицы и тем навёл пламя. Тогда у беды появляется лицо. А если у беды есть лицо, его можно ударить.

К двадцать шестому июня имя Глинских повторяли уже не шёпотом.

Его выкрикивали на площадях.

— Анна Глинская колдовала!

— Люди её Москву зажгли!

— Юрий прячет поджигателей!

Слова шли через город так быстро и одинаково, что Висковатый перестал верить в их самопроизвольность.

Он стоял с Тимофеем в тени уцелевшей стены возле Соборной площади и слушал.

Толпа прибывала со всех сторон. Шли посадские, ремесленники, лавочные люди, слуги, погорельцы, женщины с чёрными от копоти лицами, дети, для которых всякое множество людей сперва кажется праздником, пока они не увидят, как взрослые начинают убивать. У некоторых были щиты, рогатины, топоры и сулицы. Многие пришли без оружия, но в толпе даже пустая рука быстро находит камень.

— Слышишь? — спросил Висковатый.

— Что именно?

— Они говорят разными голосами и одними словами.

Тимофей прислушался.

Возле Лобного места кричал высокий кожевник:

— Сердца человеческие в воду клали!

У соборных ступеней почти то же самое повторяла старуха:

— Сердца вынули, водой город кропили!

Чуть дальше мальчишка, сидевший на плечах отца, выкрикивал:

— Глинские Москву окропили!

— Кто-то дал им готовый рассказ, — сказал Тимофей.

— И выбрал такой, который невозможно проверить, но легко запомнить.

— Колдовство.

— Нет. Страх. Колдовство лишь одежда.

По площади прошёл новый гул.

К боярам, вышедшим на крыльцо, потянулись люди. Кто-то требовал суда. Кто-то спрашивал, кто зажигал Москву. Кто-то уже отвечал за тех, кто ещё не успел спросить.

Тимофей заметил мужчину в сером плаще.

Тот стоял недалеко от соборных дверей, лицом к толпе. На голове — простой колпак, нижняя часть лица закрыта полотном, будто от дыма. Он не кричал громче других. Напротив, говорил тем, кто стоял ближе, и через несколько мгновений его слова уже повторяли десятки людей.

— Серый, — сказал Тимофей.

Висковатый не повернул головы.

— Где?

— У дверей. Слева от человека с копьём.

— Волчья застёжка?

— Плащ закрыт.

— Не смотри прямо.

Но было поздно.

Серый человек поднял глаза и увидел Тимофея.

Их разделяло не более тридцати шагов и несколько сотен чужих тел.

Незнакомец не вздрогнул. Только чуть наклонил голову, словно приветствуя давнего знакомого.

Затем крикнул:

— Юрия Глинского к ответу!

Толпа ответила ему.

Имя подхватили так, будто оно уже давно ждало первого голоса.

— Юрия!

— Глинского сюда!

— Пусть скажет, где поджигатели!

Висковатый тихо выругался.

— Он ведёт их к собору.

— Зачем?

— Потому что Юрий там.

Князь Юрий Васильевич Глинский, дядя царя по матери, успел укрыться в Успенском соборе. Он искал спасения там, где камень, священный чин и страх Божий должны были остановить людскую ярость.

Но толпа, уверовавшая, что исполняет справедливость, перестаёт бояться даже алтаря.

Люди двинулись к дверям.

Сначала медленно. Потом, когда задние напирают, движение сделалось неудержимым. Висковатый и Тимофей оказа-

лись втянуты вместе со всеми.

— Не потеряй серого! — крикнул подьячий.

Тимофей видел плащ впереди.

Незнакомец не пробивался сам. Он словно плыл внутри толпы, зная, где сейчас откроется путь. Возле ступеней он толкнул плечом человека с рогатиной, тот упал на соседа, началась давка, и несколько вооружённых мужчин оказались у самых дверей.

В соборе шла служба.

Пение ещё держалось под сводами, когда первый крик во-
рвался внутрь. Хор продолжал тянуть Херувимскую, но го-
лоса певчих дрогнули. Люди у входа крестились и одновре-
менно толкали друг друга, будто хотели примирить в себе
страх Божий и жажду расправы.

— Назад! — закричал священник. — В храме кровь не
льют!

Его оттеснили.

Тимофей увидел князя Юрия возле митрополичьего ме-
ста. Тот был без шапки, с растрёпанной бородой, бледный,
но ещё сохранявший боярскую властность. Рядом стояли
двое слуг, один держал саблю, другой — тяжёлый подсвеч-
ник.

— Я перед царём отвечу! — выкрикнул Глинский. — Не
перед черню!

Это было самое опасное, что он мог сказать.

Толпа слышала не отказ от незаконного суда.

Она услышала презрение.

— Чернь?!

— Наши дети сгорели, а мы чернь?!

— Бей колдуна!

Серый человек появился у колонны.

Тимофей увидел его руку.

На запястье, под краем плаща, блеснула серебряная волчья голова.

— Он здесь! — крикнул Тимофей Висковатому.

Но крик утонул.

Княжеский слуга взмахнул саблей. Не ударил — только хотел остановить первых, — однако сталь в храме решила больше слов. В него полетел камень. Подсвечник упал. Кто-то схватил Юрия за рукав.

Тимофей пробился вперёд.

— Назад! Государев суд будет!

Его толкнули.

Он ударился плечом о колонну, едва не потерял сознание, но удержался. Увидел, как один человек рвёт с князя дорогой кафтан, другой бьёт кулаком в лицо, третий тянет к выходу.

Юрий ещё пытался говорить.

— Государь... Я царёв дядя...

Но родство, которое вчера спасало от любого суда, сегодня сделалось доказательством вины.

Его выволокли наружу.

Тимофей бросился следом.

На ступенях князь упал. Кто-то ударил его камнем. Потом ещё раз. И ещё.

Каждый отдельный человек, возможно, не желал смерти. Один только кричал, другой толкнул, третий поднял камень, четвёртый сказал, что виновный должен ответить. Но толпа умеет сложить мелкие человеческие уступки злу в одно большое убийство, за которое потом никто не считает себя ответственным.

Тимофей увидел серого возле самого тела.

Тот не бил.

Только смотрел.

Смотрел внимательно, почти спокойно, словно проверял, до какого предела можно довести людей одним словом.

Тимофей рванулся к нему.

Между ними оказалась женщина. Её сбили с ног, и толпа уже шла по ней. Рядом кричала девочка.

Одного мгновения хватало, чтобы продолжить погоню.

Одного — чтобы спасти.

Тимофей наклонился, поднял женщину за плечи и вытолкнул к стене. Потом подхватил девочку.

Когда снова посмотрел вперёд, серого не было.

Только на земле возле ступени лежала оторванная серебряная застёжка.

Волчья голова.

Тимофей поднял её.

Князя Юрия уже добивали на площади.

Над ним кричали о справедливости.

А из открытых дверей Успенского собора продолжал плыть слабый, ломкий голос певчих, пытавшихся закончить песнопение.



Висковатый нашёл Тимофея через четверть часа.

Подьячий был без шапки, с рассечённой бровью. В руке держал кусок бересты.

— Где серый?

— Ушёл.

— Почему?

Тимофей указал на спасённую женщину. Та сидела у стены, прижимая девочку к груди.

Висковатый посмотрел и ничего не сказал.

— Нашёл застёжку, — произнёс Тимофей.

— Он потерял?

— Возможно.

Висковатый взял серебряную голову через ткань.

На обороте была царапина.

Три соединённые арки.

— Не потерял, — сказал подьячий. — Оставил.

— Зачем?

— Чтобы мы знали: он был здесь.

— Хвастается?

— Нет. Учит.

— Чему?

Висковатый посмотрел на тело Глинского, вокруг которого ещё шумели люди.

— Тому, что человека можно убить без собственного клинка.

Он развернул бересту.

На ней было написано:

«Первые врата отворены. Царь узнал страх народа».

— Где нашёл?

— В соборе. Вложено в певческую книгу.

— Значит, они знали, что толпа войдёт внутрь.

— Они добивались этого.

— Пожар тоже они устроили?

Висковатый покачал головой.

— Не знаю. Умный злодей не всегда создаёт бедствие. Иногда ему достаточно первым понять, как им воспользоваться.

По площади разносили новые слухи.

Говорили, что Анна Глинская бежала. Что Михаил Глинский скрывается у государя. Что сам царь держит родичей в Воробьёве. Что надо идти туда и требовать выдачи.

Висковатый слушал всё мрачнее.

— Они ещё не закончили.

— Что будем делать?

— Предупредим государя.

— И толпу?

— Толпу уже нельзя предупредить. С нею можно только

встретиться.



Иван находился в селе Воробьёве.

Он уехал туда после пожара, потому что московские палаты пострадали и потому что даже царь нуждается иногда в расстоянии между собой и бедой. С высокого места он видел чёрный город, видел столбы дыма, видел, как на месте привычной столицы лежит огромное серое поле.

Но расстояние не принесло покоя.

Весть об убийстве Юрия Глинского доставили к вечеру.

Иван выслушал гонца стоя.

— Где убили?

— У Успенского собора, государь.

— В храме?

Гонец опустил голову.

— Начали в храме. Добили на площади.

Иван побледнел.

Юрий не был ему особенно близок. Молодой царь знал его властолюбие, слышал жалобы на людей Глинских, понимал, сколько ненависти накопил материнский род. Но одно дело — самому судить родственника, другое — узнать, что толпа вошла в государев собор и убила князя, прикрываясь волей народа.

Внутри Ивана мгновенно поднялись страх и ярость.

Страх говорил: они придут за тобой.

Ярость отвечала: убей прежде, чем придут.

Эти два голоса ещё не были привычными спутниками его власти, но уже узнали дорогу в душу.

— Сколько их? — спросил он.

— На площади были тысячи.

— Кто вёл?

— Неведомо.

— Бояре?

— Не видели.

— Не видели или не хотите называть?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.